

# ЖИЗНЬ ЯЗЫКА



Памяти  
Михаила Викторовича  
Панова

Сборник статей

**Жизнь языка:**  
**Памяти М. В. Панова**

«Языки Славянской Культуры»

## **Сборник статей**

Жизнь языка: Памяти М. В. Панова / Сборник статей — «Языки Славянской Культуры»,

Книга посвящена памяти замечательного отечественного лингвиста – Михаила Викторовича Панова. В ней собраны воспоминания о нем, расшифровка стенограмм бесед с М. В. Пановым, некоторые неопубликованные ранее серьезные и шуточные произведения ученого о языке, а также научные статьи коллег, друзей и учеников Михаила Викторовича.

## Содержание

От редакторов	5
М. Я. Гловинская, С. М. Кузьмина (Москва). Слово о нашем Учителе	6
Е.В, Клобуков (Москва). Памяти Михаила Викторовича Панова	9
I. Автобиография М. В. Панова	14
Автобиография	14
«Я очень обрадовался, что светло»	15
II. Панов рассказывает и пишет	17
Четыре беседы с М. В. Пановым	17
Две беседы с Михаилом Викторовичем Пановым	17
1. Разговор М. В. Панова с Е. А. Земской, Е. Калло и	17
В. Ф. Тендер. 27 февраля 2001 г	
2. Разговор М. В. Панова с Е. А. Земской, В. Ф.	41
Тендер и Г. Б. Якимчик. 1 апреля 2001 г	
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Сборник статей ЖИЗНЬ ЯЗЫКА Памяти Михаила Викторовича Панова**

## **От редакторов**

Прошло пять лет, как нет Михаила Викторовича Панова. Время идет. Еще недавно, в 2001 году, издательство «Языки славянской культуры» выпустило книгу «Жизнь языка. К восьмидесятилетию Михаила Викторовича Панова». В ноябре 2001 года после тяжелой болезни Михаил Викторович скончался, не дожив до 82 лет.

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН дважды проводил конференции, посвященные М. В. Панову, опубликованы некрологи, прочитаны доклады, написаны статьи – мы пытаемся осознать человеческий и научный масштаб личности Михаила Викторовича.

Предлагаемая читателям книга продолжает традиции книги «Жизнь языка», и хотя это не юбилейное издание, а скорее мемориальное, оно хранит живой голос Михаила Викторовича, запечатленный в четырех магнитофонных записях и письмах, а также его неопубликованные стихи и некоторые другие произведения. В сборник включены и воспоминания о М. В. Панове, фотографии и автографы.

Книга содержит более сорока научных статей. Тематика их разнообразна. Мы сознательно шли на это живое разнообразие, желая, с одной стороны, показать, как развивается проблематика, разрабатываемая в работах М. В. Панова, а с другой стороны, выявить темы, не связанные непосредственно с его научной деятельностью, но навеянные его личностью и творчеством.

Его друзья, коллеги и ученики стремятся продолжать дело жизни Михаила Викторовича, и мы надеемся, что предлагаемая книга явится доказательством этого.

## **М. Я. Гловинская, С. М. Кузьмина (Москва). Слово о нашем Учителе**

Михаил Викторович Панов – наш Учитель. Он был терпеливым, добрым, щедрым, требовательным. Он учил и воспитывал своих учеников и своими научными работами, и лекциями, и беседами, и замечаниями на полях, подчас ироничными и даже едкими («гм», «умственно!», «не пижоньте, пожалуйста» и т. п.), и самим своим поведением, честным и принципиальным.

М. В. Панов – представитель Московской лингвистической школы. Он научный правнук Ф. Ф. Фортунатова (его учителя и старшие коллеги – А. А. Реформатский, Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров – «ученики учеников Ф. Ф. Фортунатова»). МВ всегда дорожил своей «родословной», храня верность школе и в то же время творчески развивая ее идеи. И его учителя смотрели на него как на продолжателя и хранителя московских традиций.

Что ценно для нас в научной деятельности Михаила Викторовича?

– **ШИРОТА И РАЗНООБРАЗИЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:** в его работах исследуются все языковые ярусы. От фонетики и фонологии как стартовой площадки он идет к другим ярусам – морфологии, словообразованию, синтаксису, лексике, последовательно исследуя их с функциональной, позиционной, «фонологической» точек зрения. В его работах представлены разные аспекты исследования языка: социолингвистика, фонетическая стилистика, фонетическая история и «микроистория», поэтический язык, сценическая речь, орфоэпия, теория письма, история науки.

– **ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА** исследований, сочетающаяся с исчерпывающим описанием выбранного участка языковой системы. Так, его книгу «Русская фонетика» (М., 1967) можно назвать фонетической энциклопедией. Достаточно посмотреть, например, на постраничные сноски этой книги, дающие исчерпывающие материалы по любому, даже вскользь упоминаемому вопросу.

– **СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЯЗЫК** и умение видеть общее в частном. Мысли Михаила Викторовича свойственно движение от углубленного изучения фрагмента к размышлению об устройстве целого. Он стремится увидеть тождество единицы самой себе в непохожести ее проявлений («= эма») и, с другой стороны, обнаружить одинаковость в устройстве разных языковых сущностей (изоморфизм). В творчестве М. В. Панова почти эстетическую роль играет единичный факт, перестраивающий систему. Михаил Викторович – великий мастер обнаруживать уникальные, драгоценные факты такого рода.

– **ЧЕТКОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ** и в то же время **РАСКОВАННОСТЬ**, сознательный анти-академизм изложения. И в этом он – ученик А. А. Реформатского, который отметил «стилистическую афористичность изложения» МВ, «художественный прием детективного уклона». Научный стиль Михаила Викторовича – естественный сплав науки и искусства.

Михаила Викторовича привлекали парадоксальные формы языковых законов и парадоксальные формы их выражения: развитие литературного языка состоит в том, что он всё меньше развивается; системность языка выражается им формулой  $2-1=0$  (например, если в языке меньше двух падежей, то в нем нет категории падежа вообще).

– **ТАЛАНТ ОРГАНИЗАТОРА.** МВ умел создать среди учеников атмосферу студийности. Ирония, игра, шутка – неотъемлемые элементы, определяющие эту неповторимую атмосферу. Вот пример. Коллектив сектора современного русского языка, который возглавлял тогда Михаил Викторович, пишет монографию «Русский язык и советское общество». Каждые десять дней строго, придирчиво обсуждаются куски работы. В то же время МВ призывает каждого написать частушку о себе на тему социологии. А если у кого из учеников не хватает на это таланта, то он сам сочиняет за него и от его имени:

От усердия, кажись,  
Протянула ноги я.  
Отвяжись, худая жись  
И социология.

На лекции по фонетике в МГУ МВ полемически рисует образ ученого, который якобы сформировался в воображении студентов; идет такой ученый-лингвист домой и думает: «Вот приду, еще два глагола проспргаю». А это случай из тех времен, когда МВ в МГПИ только начал читать лекции. Приводится шуточный «пример» из области фонетической стилистики: в высоком стиле произносится [фонэма], в нейтральном – [фан'эма], а в разговорном – [фан'о-ма].

– Михаил Викторович – НЕ ПРОСТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, но и замечательный ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ. Не только ученый, но и учитель, школьный, а потом вузовский. Им написаны блестящие популярные книги об орфографии, он составитель, редактор и один из авторов «Энциклопедического словаря юного филолога», вдохновитель, редактор и один из авторов новой школьной программы и написанного по ней экспериментального учебника в четырех томах для средней школы, автор глав в учебниках для вузов, автор вузовского пособия по фонетике русского языка, автор сборников упражнений для вузов.

Ключевые научные интересы М. В. Панова определились еще в студенческие годы (он окончил Московский городской педагогический институт в 1941 г.). Он писал: «В институте в то время работал лингвистический студенческий кружок под руководством профессора А. М. Сухотина. Как и многие другие студенты, я участвовал в работе этого кружка; прочел сообщения: „О разных типах произношения слоговых сонорных согласных в русском литературном языке“, „Фонетические особенности рифмы у русских поэтов XX в.“, „Проблема праязыка“ (подготовлено под руководством А. М. Сухотина), „О значениях творительного падежа в русском языке“ (подготовлено под руководством проф. А. Б. Шапиро), „О ритмической организации прозы“.

М. В. Панов был приглашен в Институт русского языка АН СССР академиком В. В. Виноградовым в 1958 г. С 1964 г. он возглавлял сектор современного русского литературного языка.

В 1968 г. вышел из печати последний том коллективной монографии, выполненной под его руководством, – «Русский язык и советское общество». И потом, после его вынужденного ухода из Института в 1971 г., в секторе разрабатывались проблемы, выросшие из этой монографии и поставленные М. В. Пановым в ярком теоретическом Проспекте к ней (Алма-Ата, 1962 г.): роль антиномий в развитии языка, принципы социолингвистического исследования языка, основные тенденции в развитии грамматического строя русского языка, соотношение разговорной и книжной речи, фонетические изменения и их причины. Заметим в скобках, что за 40 лет, прошедших после выхода монографии, закономерности языкового развития, обнаруженные в ней, полностью подтвердились.

Именно в эти годы переживает новый подъем МФШ («МВШ», как шутили ученики). Среди лингвистов в то время возникла такая шуточная периодизация науки: московская школа – новомосковская – «пановомосковская».

В 70-е гг. М. В. Панов, как и некоторые другие лингвисты, почти не имел возможности публиковать свои работы. Поэтому многие его труды этого времени существуют только в устной форме. Таковы спецкурсы, прочитанные им в МГУ: о языке русской поэзии XVIII–XX вв.; о позиционном синтаксисе; о соотношении фонологии двух «функциональных» школ – Московской и Пражской; о том, что такое язык.

Михаил Викторович – великолепный знаток поэзии, живописи, театра. Интересны некоторые критерии, сформулированные МВ. Хороший поэт – тот, у которого есть хотя бы одно

хорошее стихотворение. Плохой читатель – тот, кому нравится хотя бы одно плохое стихотворение. Поэта, писателя судят по вершинам, а читателя – по провалам.

Наука, как сказал Михаил Викторович в одном своем стихотворении, – это «дерево с живым и честным стволом». Это же можно сказать и о самом Михаиле Викторовиче. Это богатейшая свободная личность, яркая и индивидуальная, оригинальная во всем – в лингвистических идеях, в языке, стиле, в отношении к людям.

Мы счастливы от сопричастности к жизни и делу нашего Учителя. Спасибо ему.

## **Е.В. Клобуков (Москва). Памяти Михаила Викторовича Панова**

3 ноября 2001 г. на 82-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор Михаил Викторович Панов – один из талантливейших филологов современности, видный представитель московской (фортуноватовской) лингвистической школы, замечательный педагог, удивительный человек и настоящий гражданин своей страны.

Весть о кончине Михаила Викторовича нестерпимой болью отозвалась в сердце каждого, кто имел счастье знать выдающегося ученого, общаться с ним, слушать его лекции, читать его книги и статьи.

Уникальным был диапазон научных интересов М. В. Панова. Лингвистика и литературоведение (правы те, кто говорит о реальном возрождении в его творчестве ломоносовского принципа филологического единства); работы по общему языкознанию и социолингвистике, теории синхронического и диахронического описания языка; исследования в области лексики и грамматики, фонетики и лингвопоэтики; анализ парадигматических и синтагматических отношений на всех уровнях словесного творчества. Это всё – Панов.

М. В. Панов родился в Москве 21 сентября 1920 г. Когда отмечался восьмидесятилетний юбилей Михаила Викторовича, было много написано и сказано о его роли в отечественной науке, о тех направлениях филологии, где его слово оказалось решающим. Поэтому, навсегда прощаясь с М. В. Пановым, нет нужды еще раз подробно говорить о том, о чем уже было сказано, достаточно вспомнить материалы юбилейного сборника «Жизнь языка» (М.: Языки славянской культуры, 2001) или статью Л. Н. Булатовой, Е. А. Земской, С. М. Кузьминой и В. И. Новикова «Диапазон дарования» (Вопросы языкознания. 2001. № 1).

Сегодня хочется говорить о другом – о том месте, которое занял М. В. Панов в нашей духовной жизни; необходимо попытаться понять, почему с уходом Михаила Викторовича все мы вдруг ощутили, что в невозвратном прошлом осталась какая-то важная часть нашей жизни.

М. В. Панов не был выпускником МГУ, он никогда не числился в постоянном штате университета. Но со студенческих лет и до конца жизни тянулась ниточка, незримо и навсегда связавшая М. В. Панова с Московским университетом. В Московском городском педагогическом институте им. Потемкина, где он учился в довоенные годы и который всегда вспоминал с теплым чувством, читали лекции университетские профессора, уже при жизни ставшие классиками фортуноватовской школы: Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов, Г. О. Винокур, А. М. Селищев. А любимыми учителями Панова в годы студенчества были Алексей Михайлович Сухотин и Александр Александрович Реформатский.

Год окончания института совпал с началом Великой Отечественной войны. Артиллерийское училище, передовая. Михаил Викторович – командир взвода. Ранения, боевые награды... Затем в течение восьми лет работа в школе, о чем он всегда вспоминал с большой нежностью. Следует особо сказать, что преподавание русского языка в школе и вузе, разработка основ преподавания науки о русском языке школьникам занимали одно из главных мест на шкале жизненных ценностей М. В. Панова. Великий, с мировым именем ученый и великий педагог-практик – такое сочетание встречается крайне редко. Возможно, в нашей лингвистике только А. М. Пешковский с такой же страстью стремился сблизить школьную грамматику с академической. И последний курс, прочитанный Пановым студентам в Открытом педагогическом университете незадолго до смерти, был посвящен школьному преподаванию русского языка...

В начале 50-х гг. – аспирантура в Горпединституте у Р. И. Аванесова, преподавательская работа в alma mater, первые публикации. Нужно сказать, что уже самая первая статья Михаила Викторовича («О значении морфологического критерия для фонологии»), опубликован-

ная в 1953 г. в Известиях АН СССР, стала, как и многие другие его работы, в буквальном смысле хрестоматийной: А. А. Реформатский включает ее в свою хрестоматию «Из истории отечественной фонологии» (М., 1970). Получили широкую известность и другие ранние статьи М. В. Панова: «О слове как единице языка» (1956), «О грамматической форме» (1959), «О частях речи в русском языке» (1960). Эти исследования в значительной степени определили пути дальнейшего развития ключевых разделов русской лексикологии, морфологии и словообразования.

В 1958 г. академик В. В. Виноградов, основатель и директор Института русского языка АН СССР, приглашает молодого перспективного ученого в свой институт. Кстати, была альтернатива – пойти работать в МГУ, где кафедрой русского языка заведовал тот же Виноградов. В итоге порешили: начать с института («А там посмотрим!»). Михаил Викторович является в начале 60-х гг. заместителем председателя Орфографической комиссии, созданной по постановлению президиума АН СССР. С 1964 по 1971 г. он заведует в институте сектором современного русского языка. Параллельно М. В. Панов осуществляет руководство социолого-лингвистическим научным проектом. Возглавляемый и направляемый им коллектив единомышленников подготовил к печати четырехтомную серию коллективных монографий «Русский язык и советское общество» (1968) – ив наши дни один из наиболее активно цитируемых трудов по русской лингвистике. Общеизвестно, что именно М. В. Панов возродил практически утраченные в отечественной науке традиции социолингвистического анализа языка.

60-е гг., годы хрущевской «оттепели», были временем яркого расцвета мощного и многогранного научного дарования М. В. Панова. Рискну утверждать, что М. В. Панов до конца дней оставался шестидесятником в том благородном смысле, который вкладывала в это слово доперестроечная интеллигенция. Высокий профессионализм и соответствующий авторитет в научном сообществе, чувство чести и достоинства, высота гражданского чувства, стремление переделать жизнь к лучшему и бороться с попытками отбросить наше общество к прошлому – вот штрихи к социальному портрету Михаила Викторовича периода 60-х.

В то время было модно делить всех на «физиков» и «лириков». М. В. Панов был выше этого деления, он был и физиком, и лириком одновременно. Панов-«физик», подобно Бодуэну и Фортунатову, мыслил категориями естественных наук. Он настаивал на знакомстве студентов-русистов с азами экспериментальной акустической фонетики. Он привлек самую передовую по тем временам вычислительную технику для обработки результатов массового анкетирования носителей русского литературного языка. А Панов-«лирик» в течение всей жизни любил поэзию (Маяковский, Пастернак, Хлебников, Хармс), читал лекционные курсы и публиковал научные исследования, посвященные поэзии. Да он и сам писал великолепные стихи. В 1999 г. вышел сборник его избранных стихотворений; журнал «Знамя» (1999. № 3) откликнулся на стихи Панова рецензией с выразительным заголовком: «Стих первой свежести».

Но вернемся к 60-м. В 1967 г. выходит в свет основной фонетический труд М. В. Панова – книга «Русская фонетика». Характерная деталь: на обложке – некий абстрактный рисунок, что, казалось, отражало понятную почти всеобщую тягу к новой эстетике; на деле нагромождение пятен и линий оказывалось... спектрограммой слова «счастье»! Панов был ученым, в полной мере познавшим, что такое счастье настоящего исследователя. Уже на основании опубликованных к концу 60-х гг. исследований по теории языка и фонетике, графике и орфографии, лексикологии и морфологии можно было бы сказать, что М. В. Панов прочно вошел в историю отечественной лингвистики.

Однако случилось так, что имя Михаила Викторовича Панова стало достоянием не только истории нашей науки. Его жизнь навсегда останется в качестве одной из вех становления в стране норм гражданского общества. Когда на рубеже 60 – 70-х гг. начался откат от «оттепели» к «застою», Панов остался верен тем же нравственным принципам, тем же представлениям о чести и достоинстве, которыми жили шестидесятники. Инспирированное сверху

ужесточение идеологической цензуры в науке и борьбу с любым инакомыслием Михаил Викторович наблюдал и в Академии наук.

...«Михаилу Викторовичу Панову – ученому, учителю, доблестному воину» – с таким посвящением был позднее опубликован в ознаменование 80-летия ученого сборник «Жизнь языка» (М., 2001). Последняя часть посвящения обращена не только к солдатскому периоду жизни Панова. Необычайная популярность Михаила Викторовича среди московской интеллигенции начиная с конца 60-х гг. (он был, как теперь говорят, поистине знаковой фигурой своего времени) была связана с тем, что, как все хорошо знали, и после войны он жил по нормам воинской доблести: сам погибай, а товарища выручай.

Всю свою жизнь М. В. Панов не только боролся за признание идей своей научной школы, но и по-солдатски бесстрашно говорил о том, что ему казалось неправильным в жизни своего института после того, как коллективом перестал руководить В. В. Виноградов. Михаил Викторович, надеясь на восстановление справедливости, написал письмо в партийные инстанции, а инстанции решили защищать честь академического мундира. В итоге М. В. Панов был наказан. При этом как звезда первой величины он был наказан примерно, в назидание всем другим правдолюбам – исключен из партии (куда вступил, между прочим, под пулями, на передовой). Руководитель творческого коллектива, принесшего публикацией социолого-лингвистического исследования мировую славу академическому Институту русского языка, вместе с целым рядом других ученых был вынужден в 1971 г. уйти из института.

Опальный ученый, к счастью, не остался без работы. Сначала был НИИ национальных школ и плодотворное сотрудничество с Р. Б. Сабаткоевым, затем, в 80-е гг., Открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова, кафедра Е. И. Дибровой. Новые книги, ставшие бестселлерами, постоянно цитируемые в научной литературе: «Изучение состава слова в национальной школе» (Махачкала, 1979), «История русского литературного произношения XVIII–XX вв.» (М., 1990), вузовский учебник «Современный русский язык. Фонетика» (М., 1979) и фонетический раздел в университетском учебнике «Современный русский язык» под редакцией В. А. Белошапковой (М., 1981; 4-е изд. – 1997). Выходит в свет составленный М. В. Пановым «Энциклопедический словарь юного филолога» (М., 1984), публикуются новаторские «Экспериментальные учебные материалы по русскому языку для средней школы» в четырех частях (М., 1979, отв. редакторы М. В. Панов и И. С. Ильинская) – прообраз вышедшего позднее школьного учебника. Наконец, в 1999 г. выходит в свет монография «Позиционная морфология». Вновь, как и про 50 – 60-е гг., можно сказать: если бы у М. В. Панова были работы только этого («послеакадемического») периода, он и тогда мог бы претендовать на самое достойное место в истории нашей науки.

А теперь вернемся к теме: Панов и МГУ. В 1971 г. в штатном расписании кафедры русского языка освободилась вакантная ставка профессора. И хотя Московский университет находился под не менее (а, судя по всему, даже более) жестким контролем партийных органов, нежели Академия наук, К. В. Горшкова, как раз в 1971 г. начавшая заведовать кафедрой, вместе с деканом факультета А. Г. Соколовым предприняли попытку зачислить М. В. Панова в штат кафедры. Для этого нужно было получить разрешение райкома. Клавдия Васильевна часто вспоминала трагикомические подробности похода с секретарем парткома факультета в райком: охрана, узнав о цели прихода филологов, попросту не пустила их за порог учреждения.

Тем не менее кафедре удалось добиться, чтобы М. В. Панов был зачислен на полставки доцента. Это формально половинчатое, но по существу очень важное и для кафедры, и для М. В. Панова решение могло быть принято (под персональную ответственность соответствующих должностных лиц на факультете) на университетском уровне, поскольку ученый уже читал в течение четырех лет лекции на филологическом факультете (как и в Институт русского языка, он был приглашен в МГУ В. В. Виноградовым). В итоге лекции М. В. Панова в МГУ не прерывались и после злосчастного 1971 г. Все самые трудные для М. В. Панова годы вплоть до сере-

дины 1980-х, когда по состоянию здоровья ему стало трудно работать в поточной аудитории, он вел общий курс фонетики для студентов-первокурсников МГУ и читал разнообразные специальные курсы (история поэтического языка, история орфоэпии, позиционный синтаксис), начал вести занятия кандидатского минимума с аспирантами.

Лекции М. В. Панова были, бесспорно, уникальным событием в филологической жизни 60 – 80-х гг. На эти лекции Панова студенты буквально рвались, заранее занимая места (опоздавшие сидели в проходах, стояли вдоль стен амфитеатра...). Съезжалась «вся лингвистическая Москва». Приходили коллеги Панова – известные ученые (например, Е. А. Земская), регулярно посещали их профессора и преподаватели факультета (как сейчас вижу Олега Сергеевича Широкова, из года в год входившего в аудиторию следом за лектором и усаживавшегося на «свое» место в первом ряду). Панов – единственный на моей памяти университетский лектор, каждая (!) лекция которого завершалась горячими аплодисментами слушателей. Лекции были глубоки по содержанию (за кажущейся простотой – яркие прозрения о природе языка). Они были блестящими по исполнению – это был чарующий театр одного актера.

Но не только сказанным был обусловлен успех лекций Михаила Викторовича. Лектор являл пример гражданского мужества, образец того, что в любой обстановке можно оставаться порядочным человеком, не терять своего достоинства. Думаю, всё это отчетливо осознавалось аудиторией и было в то время очень важно для формирования нравственных ориентиров в сознании студентов. На лекции Панова ходили с тем же тревожно-радостным чувством, с каким открывали свежий номер «Нового мира», или слушали песни Окуджавы и Высоцкого, или стремились попасть на поэтический вечер либо на премьеру в «Современник».

В МГУ М. В. Панов обсуждал только что вышедшие работы, например в конце 60-х – четырехтомник «Русский язык и советское общество» (запомнилось удивительное чувство стиля докладчика, четко и остро реагировавшего на нюансы полемики). На кафедре русского языка М. В. Панов обсуждал и готовящиеся к печати публикации – учебник по фонетике и фонетический раздел учебника под ред. В. А. Белошапковой. На филологическом факультете Михаил Викторович нашел единомышленников – многих из авторов «Словаря юного филолога». Здесь же он выступал в конце 70-х с докладом, в котором представил неосуществленный, к сожалению, проект толкового словаря нового типа – словаря «наивных», по Щербе, определений слов. Идея была воспринята с интересом, но должной поддержки тогда не нашла. Он вновь примерно на два десятилетия опережал свое время. Тогда, в конце 70-х, на кафедре и на факультете (да и в целом в нашей науке) не было сегодняшнего интереса к языковой картине мира. Теперь, если бы Михаил Викторович вновь обратился с призывом писать словарь наивных понятий, он нашел бы много сторонников. Поздно...

Хочу сказать еще об одном. Думаю, по-человечески правильно и справедливо, что филологический факультет МГУ нашел, пусть и с изрядным опозданием, возможность исправить вопиющую несправедливость 70-х: Михаил Викторович Панов, истинный *университетский профессор* по роду своей многолетней лекционной деятельности, по своей высочайшей научной квалификации и уникальному педагогическому мастерству, лектор, которого искренне уважали студенты, ушел из жизни, будучи формально *профессором МГУ* (уточнение: профессором на полставки, в дополнение к основной профессорской работе в Открытом университете, – вряд ли умаляет значимость решения, что четыре года тому назад было принято на факультете). У кафедры русского языка и у М. В. Панова были планы творчески переработать с учетом изменившейся научной ситуации «Словарь юного филолога». Эти планы, к сожалению, не успели осуществиться.

...А боль,  
нестерпимая, —  
пусть она схлынет!

Отойдет!  
Или хоть замрет, затаится...  
Белые хлопья  
падают, падают.  
Забвенье.  
Тишина. Снег.

(М. Панов. Декабрь сорок шестого. 1946)

*Тишина и снег* – очевидно, ключевые слова в поэтическом творчестве Панова. Неслучайно по последней строчке этого стихотворения названа его книга стихов.

Умер Михаил Викторович в день, хорошо известный всякому соотечественнику, – в Димитриевскую родительскую субботу, когда на Руси идет поминовение всех усопших, и прежде всего *воинов*. Это совпадение кажется теперь отнюдь не случайным.

В день похорон, когда друзья и коллеги прощались с Михаилом Викторовичем Пановым, мела (правда, лишь утром, робко и недолго) поземка. По следам первого в том году снега в вечную тишину уходил Мастер, Ученый и Учитель. Все было так, как предсказывалось 55 лет тому назад: «*Тишина. Снег*»...

Но не будет *забвения*. Михаил Викторович Панов останется в нашей памяти, как и то время, в которое он жил и которое связано с воспоминаниями о нем. А те, кто придет после нас, будут знать его книги. И это – навсегда.

## І. Автобиография М. В. Панова

### Автобиография

Я родился в 1920 г. в семье служащего. После окончания средней школы поступил в Московский государственный педагогический институт на филологический факультет. Этот факультет был в 30-е гг. одним из центров лингвистической мысли; преподавателями кафедры русского языка были крупнейшие представители Московской лингвистической школы. Они много внимания уделяли воспитанию у студентов научного лингвистического мышления, готовили квалифицированных учителей.

Я со второго курса получал повышенную стипендию. С благодарностью вспоминаю внимание ко мне А. М. Сухотина, А. Б. Шапиро, А. А. Реформатского.

Окончил институт уже во время войны, осенью 1941 г. С октября 1941 г. – в действующей армии. В рядах Советской армии воевал под Москвой, на Кавказе, на Украине, в Румынии, Болгарии, Венгрии. Военная специальность – противотанковая артиллерия. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями. Демобилизован в конце 1945 г.

В Москве работал учителем русского языка. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на филологическом факультете Московского педагогического института им. Потемкина; работал преподавателем на кафедре русского языка этого института.

В 1958 г. акад. В. В. Виноградов пригласил меня в Институт русского языка АН СССР; несколько позднее – на кафедру русского языка в МГУ (по совместительству с основной работой). Общение с В. В. Виноградовым, В. Н. Сидоровым, А. А. Реформатским во время работы в Институте русского языка много дало для формирования моих лингвистических взглядов. В МГУ много лет читал лекции по широкому кругу вопросов теории русской фонетики и грамматики. Лекции продолжались до настоящего времени.

Основное место работы с 1971 по 1991 г. – Институт национальных школ РСФСР. Были написаны и напечатаны учебники по русскому языку и научные исследования, посвященные национальной (нерусской) школе РСФСР. В 1991 г. прекратил в нем работу в связи с ликвидацией института.

В 1990 г. вышла моя большая работа «История русского литературного произношения XVIII–XX вв.» (изд. «Наука», 450 с.) – итог моих многолетних занятий. В этой работе сделана попытка выявить закономерности развития русской произносительной системы за последние три века.

*30. VII. 91 Панов М. В.,*

*д. филол. н.*

## «Я очень обрадовался, что светло»

В Московском государственном открытом педагогическом институте (ныне – университете) Михаил Викторович Панов в 1990-е гг. читал (по приглашению завкафедрой русского языка проф. Е. Н. Дибровой) попеременно два курса – «Лингвистика и преподавание русского языка в школе» и «Язык русской поэзии». Мне посчастливилось студентом слушать лекции Михаила Викторовича. (Аудиозаписи лекций впоследствии были опубликованы в газете «Русский язык».) Хочу поделиться воспоминаниями, из которых складывается для меня облик Михаила Викторовича.

Вот, например, Михаил Викторович рассказывает студентам об истоках Московской лингвистической школы, к которой он принадлежал. Об Ушакове. *«Он обладал таким умением: излагать сложное ясно. „Краткое введение в науку о языке“ остается книжкой замечательной. Просто потому, что это не только научная книга, но это радостная книга. Это искусство ясности было свойственно Ушакову. Он создавал замечательные акварели. Он не был профессиональным художником, но пейзажные акварели у него – это настоящее искусство. Что он любил рисовать? Облака и небо. Листву, мощную листву древесную. Вот он любил то, что движется, то, что пронизано светом, ясностью».* Искусством прояснять сложное в языке и объяснять это другим в высшей степени владел сам Михаил Викторович.

Вспоминается одно весеннее занятие. Восьмое мая 1995 года. Михаил Викторович, сидя у окна, начинает беседу словами: *«Надо наслаждаться этими днями, потому что лучшие их ничего в году не будет. Смотрите, какая свежесть, какое чудо! Так бы и смотрел бы, и смотрел бы, и смотрел...».* На том занятии Михаил Викторович учил, как на уроках русского языка заниматься текстом. А в конце занятия нам трудно было не попросить Михаила Викторовича рассказать о том, как он встретил конец Отечественной войны. *«Я вам скажу очень просто. Войска наши вошли в Австрию... Карпаты – это горы, поэтому окопы сближены. Ну, ненависть невероятная. Вот сейчас вышел роман о Власове. „Генерал и его войско“ – не помните автора? Ну вот только что был напечатан. И там будто бы как только начальство заглядывается, то власовцы и Советская армия готовы брататься. Совершенное вранье! Власовцы – это были снайперы, которые убивали советских солдат, и ненависть была страшная: если снайпер времясвое пропустит и не успеет уйти, так солдаты штыками их закалывали. Не давали уйти. И даже в плен не брали.*

*Так вот, ненависть огромная. Ночью подымаешь на палке сигарку – в распилке, вот она горит, – немцы начинают хлестать пулями по сигарке: думают, это человек виден.*

*И вдруг – в одно майское утро: окопы, между ними травка майская, замечательная травка, уже довольно высокая, – вдруг солдат перемахнул через бруствер и пошел по траве! Это было такое же чудо, как хождение Христа по водам: не может быть! Невероятно! Мы просто остолбенели. И ни одного выстрела!*

*Мы поняли: война кончилась».*

Весной, во время последних занятий в большие окна аудитории на 3-й Владимирской смотрела небесная лазурь; солнечный свет падал на листы конспекта. И Михаил Викторович напоминал нам, видно, полюбившуюся ему «классификацию» вёсен по Пришвину: *«Январь, февраль, начало марта – это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе, наверху, между громадами каменных домов... Да, счастлив тот, кто может застать начало весны в городе и потом встретить у земли весну воды, травы, леса...»*

Годы спустя я обнаружил у себя листок с ответами Михаила Викторовича на вопросы предложенной студентами анкеты. Саму анкету трудно теперь найти, но по содержанию ответов можно определить характер многих вопросов. Публикуемый «Ответ на вопросы анкеты» ценен тем, что это словно маленький импровизированный автопортрет Михаила Викторовича.

О счастливой минуте жизни Михаил Викторович написал: *«Минута рождения. Я очень обрадовался, что светло. (Я родился днем.)»*

*А. Э. Цумарев Москва, 2005 г.*

## II. Панов рассказывает и пишет

### Четыре беседы с М. В. Пановым

#### Две беседы с Михаилом Викторовичем Пановым

(февраль и апрель 2001 г.)

М.В.Панов любил делиться воспоминаниями с близкими людьми – учениками, друзьями, коллегами. Он рассказывал о своем детстве и школьных годах, о войне, преподавании в школе, занятиях в университете, своих учителях, работе в Институте русского языка и МГУ. Обо всей своей жизни.

В этой книге мы публикуем две последние записи бесед с Михаилом Викторовичем, когда он уже был тяжело болен и не выходил из дома.

Темы и содержание некоторых бесед, опубликованных ранее, повторяются. Михаил Викторович невольно возвращался к прошлому и иногда рассказывал то, о чем речь уже шла в прошлых беседах. Мы, однако, приняли решение сохранить некоторые повторы, чтобы не нарушать цельность повествования, «не калечить» рассказ (такие повторы встречаются, например, в книге «Жизнь языка», М., 2001).

Наши разговоры проходили в непринужденной домашней обстановке, часто за чаем. Из записи изъяты лишь немногие бытовые «домашние» подробности. Некоторые пояснения введены в текст в квадратных скобках.

Подготовка текста к печати Е. А. Земской.

Расшифровка Д. В. Радзишевского.

Запись вела В. Ф. Тейдер.

Фонозаписи хранятся в ОФНБ МГУ и в Институте русского языка РАН.

Приняты следующие сокращения говорящих:

П. – Панов.

Т. – Тейдер.

З. – Земская.

К. – Калло.

Я. – Якимчик.

#### 1. Разговор М. В. Панова с Е. А. Земской, Е. Калло и В. Ф. Тендер. 27 февраля 2001 г

*Беседа идет на квартире М. В. Панова. В беседе принимают участие Е. А. Земская и Е. Калло (студентка – бывшая ученица М. В. Панова). Запись В. Ф. Тейдер.*

Т.: Хороший был человек Федор Дмитриевич [Ашнин].

П.: Очень хороший, да. Загадка, почему он не... Все материалы ведь раздобыл он в архивах...

Т.: Да.

П.:...Почему ему нужно было соавторство с Алпатовым? Но Алпатов уступал ему, вопреки алфавиту, первое место: Ашнин – Алпатов. Значит, он *главная* фигура был. И он мне

рассказывал, как он с большим трудом в архивах доставал эти материалы, которые частично были засекречены, частично затеряны. Он же сделал очень большое дело.<sup>1</sup>

П.: У него есть статья об Алексее Михайловиче Сухотине, моем замечательном учителе, о котором я сегодня немножечко расскажу.

П.: Все-таки я радуюсь тому, что я дожил до нашего... времени, до горбачевского и после-горбачевского времени.

Т.: Так. Ну, начнем?

З.: Начнем, начнем.

Т.: Пожалуйста, Михаил Викторович. (*Пытаясь докричаться*) Начнем!

П.: Я многие свои писания уничтожил. Почему? У меня были переписаны все книги Анны Ахматовой, я в Ленинской библиотеке... потому что у меня была такая мысль: Гитлер хотел тысячелетний рейх устроить – не удалось, а вот Сталину, наверно, удастся, потому что все так забито, все так... Все так было обесчеловечено – я думал, что я никогда не дождусь, чтобы издавали Ахматову, чтобы издавали Заболоцкого. У меня было три книги: «Столбцы», «Вторая книга», ну а третья уже продавалась – он вернулся из своей ссылки. Ну, толстые тетрадки, написанные моим уродливым почерком. Раздумывал: оставить как знак времени? Подумал: уж очень выглядит некрасиво – и уничтожил. Я всю Ахматову переписал (она осталась у меня), всю Цветаеву переписал. Ну, в общем, очень много можно говорить о том, каких поэтов я стихотворения переписал... Я выписал все, что мог в Ленинской библиотеке. Почему? Мысль была такая: эти не отпустят, человечности не будет. И то, что совершилось, – это чудо!.. Я вот уверен, что Михаил Сергеевич себе рай заработал и будет непременно в раю, а так как я там не буду, то, значит, мы с ним и не поговорим никогда. Вот.

З.: Можно ему письмо написать, еще пока вы на грешной земле.

П.: Может быть.

Уходят люди, уходят вещи. Вот самое больное, что ушло, – вот сейчас об этом скажу. Когда в сорок первом году я уезжал в армию, я маме свою небольшую тогда библиотеку... у родителей была своя, у меня – своя... я сказал маме: «Берегите мою библиотеку». А когда вернулся в сорок шестом, мама мне сказала (*с горечью*): «Мишенька, прости, продали и свою библиотеку, и твою. (*Сквозь слезы*) Очень голодно было». И я подумал (*растроганно*): «Спасибо моим книжкам, мои папа и мама не умерли с голоду». Значит, видите, какая книжка хорошая штука-то (*посмеивается*). Но среди книг огромная потеря – это журнал «Ёж». В моем детстве... вы не могли его видеть, потому что он был до вас... двадцать восьмой и двадцать девятый год журнал «Ёж» – он создал меня. Вот посмотрите на меня: я, М. В. Панов, я такой, какой есть, потому что у меня в детстве был журнал «Ёж». Если бы его не было, я был бы совершенно другой Панов, малоценный очень, и вы бы меня не записывали.

Журнал «Ёж». Двадцать восьмой год: редактор – Натан Венгров (такой поэт был), но на самом деле там уже буйствовали обэриуты. Это был журнал таких писателей, как Хармс, Заболоцкий, Чуковский, Маршак, Житков, Бианки, Шварц... ну, Олейникова я назвал, кажется. Ну, в общем, это человек двадцать великих русских писателей – затейников, изобретателей, баловников, озорников и серьезных, драматичных писателей. И я был в него влюблен вот прямо как в человека. Я все надеюсь, что доживу до того времени, когда можно будет – как сейчас, ксерокопировать можно и записывать можно, вот как вы записываете... человечество прогрессирует – и будет возможно когда-нибудь заказать в Ленинской библиотеке копии журналов. И я опять буду Панов журнала «Ёж».

В одиннадцатом – двенадцатом номере за двадцать восьмой год и за весь двадцать девятый год редактором был Олейников. О-о! это был изобретатель, это был невероятно обэриутский человек. Он замечательно создавал вот этот детский журнал, потом его куда-то отстра-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду книга: Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов. «Дело славистов» 30-е годы. М.: Наследие, 1994.

нили, но, в общем, этот дух изобретения царил в журнале. Вообще писатели делятся на две группы у всех людей: те, которые были любимыми у мамы и папы, то есть Пушкин, Лермонтов, там, Тургенев и все прочие – я их любил; и те, которых нашел сам. Вот обэриутов... я еще не знал, что они называются «Общество реалистического искусства» (*m* в конце – это суффикс: *обэриу-*, *ат* – суффикс)... ну вот, я не знал ничего о них, а просто их очень любил. А самому мне пришлось открывать Маяковского. Мой первый взрослый любимый писатель – Маяковский. Он тоже в «Еже» участвовал. (*Скандирует*)

Улица рада, весной умытая,  
Шагаем отрядом,  
и мы,  
и ты,  
и я.

Вот изобретательность Маяковского. «Умы-та-я», а рифма показывает, что это какое-то суставчатое насекомое: «умы-та-я» – «и мы, и ты, и я». Ну вообще много было всяких изобретений. Маяковского я полюбил. А вот дальше я должен сказать о своей мучительной жизни. У меня семья была необычно счастливая: никого не репрессировали, никого не арестовали, никто не сидел... но я скажу, что в моей жизни преобладали всяческие мучения. Полюбил Маяковского – так ведь травили невероятно, сейчас трудно представить. Когда Маяковский умер, значит, в девятьсот тридцатом году, я утром раненько выскочил на улицу... мы какие-то обыкновенно газеты выписывали, но я в день похорон закупил *все* газеты, чтобы осталась память об этом дне. Как писали о нем? Все эти газеты куда-то исчезли, хотя сейчас они, наверно, были бы интересны, но их я не жалею, в общем-то, потому что писали так: «шел к революции, но не дошел», «представитель мелкой буржуазии», «представитель люмпен-пролетариата», «анархическим бунтом пытался подменить социалистическое сознание».

Особенно одно было мучительно... и вот я впервые познакомился с большевистским языком... У Маяковского есть такие строчки: «агитатора горлана-главаря», и вдруг в газете – какая-то официальная газета, может быть, «Рабочая газета» или какая-то – «Он сам себя называл горлопаем». Помилуйте, «горлан-главарь» – это совсем не «горлопай». Это такое отсутствие не только уважения к Маяковскому, но отсутствие чутья языкового. И дальше все эти из РАППа архаровцы всякие все время в газете «Правда» проходились насчет того, что он не преодолел формализма, не преодолел анархизма. Это было больно (потому что для меня... то что он большевик – это совершенно было для меня несущественно). Я теперь вот, уже после войны, подумал: а ведь его слова: «Вы говорите, – он обращался к слушателям, – что мне *приказывают* писать. А я хочу, чтобы мне приказывали»... ну, это был обычный его эпатаж, а потом я подумал: а это мало чем отличается от «дыр, бул, щыл» Крученых. Он отказывается от содержания, он не отвечает – «мне приказывают», а он себе оставляет только поэтическую обработку, работу поэта. И именно это было бесконечно ценно.

И вдруг Сталин сказал, что он «лучший, талантливейший поэт». Вы думаете, радость была? Ну да, была, что прекратили травить... Но я к тому времени – это, значит, тридцать восьмой год – уже очень любил Пастернака и Ахматову, и мне было страшно больно. Почему «лучший, талантливейший поэт»? Почему же все остальные во второй сорт отошли? Поэты не делятся по сортам. Так же, как Пушкина изгадили всего, сделав его единственным поэтом России, – Кичин, такой публицист есть в «Известиях», – мне очень понравилась его статья, недавно, «Единственный поэт России». Вот эти торжества, когда казалось, что единственный поэт есть, ни Баратынского, ни Тютчева, никого нет. Вот. Очень было это тоже противно. И Кичин об этом писал в своей статье – о том, что это унижение всей русской поэзии. Вот.

И дальше страдания продолжались. В Третьяковской галерее директором был Игорь Эммануилович Грабарь. Он очень не любил и кубистов, и тем более беспредметников, ну уж не говоря об «Ослином хвосте», и не любил... Кончаловского, Аристарха Лентулова... ну, я вам потом назову. А в Третьяковской галерее (*звонок в дверь*) – вот подлинная широта – были несколько... (*Входит К.*)

К.: Здравствуйте.

З.: Здравствуйте.

(*Перерыв в записи.*)

П.: Леночка, приветствую вас! Вот эти книжки снимите...

К.: Сейчас я поставлю.

П.: Снимите эту бумагею... мануфактуру...

Т.: Давайте я.

П.: Леночка [Калло] так же, как и я, так же, как и мы все, любит Мейерхольда.

Т.: Ну, вот мы как раз и пришли к Мейерхольду.

З.: Да.

П.: Вот. Бумажки можно там взять, если вы хотите записывать. Так вот, значит, я рассказал о том, как я любил Маяковского и как меня раздражали всякие официозные его вначале гонения, а потом прославления.

Ну вот. Папа мой был, боже мой, какой театрал! Он, наверно, каждую неделю водил меня в театр, и у него были кассирши знакомые, у него были барышники знакомые. Мама была домоседка, а мы с папой ходили в театр. (*Грозно*) Но папа был консерватор (*К. усмехается*). Он признавал в первую очередь Малый театр и, спасибо ему, научил любить меня Рыжову, Турчанинову, я их очень любил, несмотря на то, что я очень с ним спорил насчет Мейерхольда. Он Мейерхольда не переносил, но он водил меня, еще маленького мальчика, ученика, в Театр Мейерхольда, и вот у нас разгорались споры.

З.: А можно тогда спросить?

П.: Что?

З.: А почему он водил, если не любил? Считал, что нужно познакомить?

П.: Он меня водил.

З.: Не, я говорю, ну да, но почему? Потому что считал, что нужно мальчика познакомить?

П.: Потому что я просил – мол, «папа...»

З.: А! Просился. Ага.

П.: «...хочу в Мейерхольда!»

З.: Понятно. (*К. смеется.*) Да. Нет, я думала, что сам, и очень удивилась.

П.: Нет-нет-нет, он не любил. Тем более у Мейерхольда были сильно антирелигиозные мотивы... и причем совершенно напрасно. Он очень обижался на то, что там священников высмеивают. Ну вот. И когда мы – может, я об этом уже раньше говорил – спорили, я: «Вот твоя эта самая..., как ее?... „Любовь Яровая“ – ну, кто ее играл?... ну, в общем, одна из артисток...» Да! Я все время [нрзб] Садовского, Пров Садовский Второй. (*Завороженно*) О, какая это была ходульная фигура! Народный артист. И вот я: «Твой Пров Садовский ничего, кривляясь, не может сделать, он совершенно все представляет, а не играет». Ну, а он говорил: «Атвой...», там, предположим, «твоя Бабанова...», что меня очень обижало, потому что Бабанова была гениальная артистка.

З.: Великолепная.

П.: Да.

З.: Мой отец больше всех любил Бабанову, и я тоже, отчасти вслед за ним, а отчасти и сама очень ее любила.

П.: Ну вот. Мама меня всегда защищала, и она говорила отцу: «Ну что ты так ожесточенно споришь? Каждый имеет право на несогласие». И я думал, что это народное присловье (вот,

«цыплят по осени считают», «каждый имеет право на несогласие»), и, кажется, один раз сказал это в райкоме.

Ну вот. Значит, посмотрелся я на Мейерхольда. Мама ходила один раз. Мы на Остужеве с папой были в роли Отелло. Пришли – ну такой восторг! Тут и я – восторг, и он – восторг. Мама решила сходить в театр, папа ей добыл билет, но она со мной пошла, я два раза видел Остужева в роли Отелло с большим удовольствием. Ну, между прочим, Остужев имеет какое-то отношение к Мейерхольду, он что-то играл у Мейерхольда. Ну вот. Потом, когда я узнал, что в тридцать восьмом году закрыли по велению Сталина, по доносу... прикреплен к Театру Мейерхольда был Каганович, и вот, значит, по его всяким рапортам театр закрыли... это был страшный удар для меня. В то время никакие родственники еще у меня не умирали, я не знал, что такое смерть родного человека, но вот... А потом узнал, что он расстрелян. Гибель театра и гибель Мейерхольда для меня было равнозначно гибели родного человека, я это переживал в страшной горести.

К.: Михаил Викторович, а вы последние спектакли смотрели? Вот «Даму с камелиями», потом...

П.: Смотрел, смотрел.

К.: По Островскому.

П.: В «Камелиях» была замечательная игра, но все-таки это был уже академический Мейерхольд, и мне больше нравились его более ранние вещи – вот «Лес» и, там, «Вступление» по бездарной пьесе Юрия Германа (но пьеса была бездарная, а постановка была гениальная).

К.: А «Клопа» видели?

П.: «Клоп» был до меня. Их всех вывели, клопов-то (*слушатели смеются*). К тому времени, когда я стал ходить в Театр Мейерхольда, он снят был уже, много лет не шел. Ну вот. Значит, я о Лене [Калло] немножечко скажу вот. Елена Михайловна. Они в детские годы играли в ЛЕФ. Леночка была Маяковский.

Т.: Да?

П.: Анна Георгиевна (*К. смеется*) Лелеева была...

З.: В школе играли в ЛЕФ?

К.: В школе. Это у нас компания была такая.

П.: Она [Лелеева] была Брик или кто?

К.: Нет, она была Пастернак.

П.: Пастернак, да?

К.: Да, и ритуально с ней ссорились, потому что она уходила из ЛЕФа.

П.: Поехали они в лагерь, а на своем имуществе написали свои псевдонимы. И потеряли один саквояж. И вот идет этот самый пионервожатый: «Кто из вас Брик? Кто из вас Брик?» (*Смеются.*)

К.: И еще на пионерской линейке директор лагеря говорит: «Сева Мейерхольд из первого отряда, зайдите за своим чемоданом».

П.: Вот. Поэтому я в них почувствовал родственные души.

Т.: А кто был Мейерхольд?

К.: Девчонка. Девочки были одни. Одни девочки, мальчиков не было, так что была девица Мейерхольд.

Т.: Это какие годы?

П.: Это, с одной стороны, одно страдание.

К.: Это самое начало семидесятых – конец шестидесятых.

П.: Я не закончил о... Грабарь – он был против беспредметной живописи и даже против «Бубнового валета», вот кого я забыл. «Бубновый валет», этот самый... «Ослиный хвост» – все это ему было не по душе. Но в Третьяковской галерее были целые залы этих художников, и я там впервые причастился вот этой так называемой левой, или формалистической, живо-

писи. Стрдание было в том, что их все время уничтожали, все время такое издевательство, такое угнетение, а я их очень любил, и по-настоящему любил, не из моды. Почему? А я уже в ОПЮЗе... влюбился в опязовцев. Почему? Вот мне это было... ужасна самая установка большевистская, я большевиков без всяких формулировок не принимал. Почему? «Искусство – это надстройка, она должна отражать решения Центрального Комитета. Искусство, поэзия должны выполнять задания товарища Сталина. Художники, писатели, поэты должны учитывать веления партии». И я уже понял: люди по-разному относятся к поэзии, к живописи. Для меня они стали единственным ценным в жизни, кроме папы и мамы, у меня (*смеется*) живопись, Мейерхольд, ОПЮЗ. Почему? Они отстаивали *независимость* искусства – что искусство вовсе не надстройка, а оно самостоятельно. Вот. Елистратова вы знаете?

З.: Я знаю.

П.: Вот. Елистратов был у меня в гостях как-то, и я ему пожаловался, что у меня есть такой пробел. В журнале «Печать и революция» напечатано выступление Эйхенбаума (в каких-то двадцатых годах, двадцать пятом, скажем, двадцать шестом году), но я не помню номера журнала «Печать и революция», а Эйхенбаум говорил о чем: «Нас называют формалистами. Это неправильно. Мы изучаем и форму, и содержание, и литературный быт. Мы не формалисты, а мы **спецификаторы**. Мы исходим из того, что искусство специфично, оно не подобно ни науке, ни политике, никаким другим элементам человеческого бытия, оно особое». Спецификаторы. А потом стали выступать... наверно, на десять страниц выступление Эйхенбаума, а на тридцать страниц выступление Ольминского, Скворцова-Степанова, там, Когана, Луначарского – уж они его крыли! Причем он их называл по имени-отчеству. Они его называли... друг друга они называли «товарищ» («товарищ Коган», «товарищ Скворцов-Степанов»), а Эйхенбаума они называли «гражданин». Вот Луначарский: «Гражданин Эйхенбаум думает, он полагает, что мы такие простаки, что мы...», и так далее, и так далее. Разнос был страшный. Но я просил для контраста и эти выступления. Вот мне Елистратов ксерокопировал, нашел (я ему не мог номера журнала назвать, но он нашел), и теперь я могу наслаждаться и выступлением Эйхенбаума, потому что он смело очень выступил, он сказал, что «не формалисты, а спецификаторы», и очень смело выступал о том, что никакая не надстройка, а самостоятельная сущность. Вот это было мне страшно близко у формалистов, и я уже в старших классах перечитал все основные книги Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, этого самого... Томашевского я сказал, нет? Вот. И они были мне бесконечно дороги, и я писал школьные сочинения с цитатами, часто неточными, потому что нельзя было... из формалистов. Это уже в шестом классе.

(*Пропуск в записи – речь идет о романе Чернышевского; см. «Жизнь языка», 2002.*)

П.: Потому я и люблю Чернышевского романы.

З.: Я Чернышевского не люблю, но я готова признать это сочинение экспериментальным, этот роман.

П.: Это особое направление.

З.: Да. Занудство, но экспериментальное.

П.: Но одновременно с этим какое страдание? Выставка АХРРа. Насколько все время гадили вот этим формалистам всякие... какой-то Иогансон бездарный, какой-то там Бубнов бездарный, все эти Александры Герасимовы – все страшные... (*С раскатом*) АХРР: Ассоциация революционных художников.

Т.: России.

П.: Ассоциация художников революционной России. Страшная гнусность. И везде хвалебные отзывы, везде, значит, надо их прославлять. Вот это постоянное искажение эстетической перспективы. В пятом классе была учительница Акимова Маргарита... отчество забыл... тоже хорошая была учительница, но пятиклашкам, конечно... требовать особо нечего. Но она по программе шла. Мы учили наизусть стихотворение Жарова. «Зов о металле» – самое название до чего глупое! (*Усмехаются с Т.*) Я до сих пор помню:

Стали! Побольше стали!  
Меди, железа – вдвойне!  
Вы слышите, зов о металле  
Льется по нашей стране!

Вот такие стишки мы учили. Это было противно, я вам прямо скажу. Я уже в это время любил Маяковского и подбирался к Хлебникову. В тридцать шестом году вышел одноклассник Хлебникова, стоил он очень дорого (я не буду вам вспоминать, сколько), и я целый месяц собирал на него деньги. Я был очень денежный мальчик. Во-первых, мне мама в неделю давала рубль – на завтраки в школу она давала рубль, но я брал из дома кусок хлеба, смазывал маслом и вместо завтраков покупал книжки. Еще были какие-то родственники, которые иногда рубль мне давали. На рубль можно было купить четыре книжки по двадцать пять копеек – ну, детские, конечно. А вот на эту книжку... до сих пор у меня сохранилась эта... стихи Хлебникова.

Чтобы кончить с покупкой книг Хлебникова, еще скажу об одной покупке, уже после войны. Я учитель, приношу учительскую зарплату (вы, наверно, представляете, какая была в каком-нибудь, там, сорок седьмом году зарплата учителя), и вдруг в магазине на Сретенке (в самом начале был книжный магазин, он, наверно, и сейчас там есть) – *пятитомник Хлебникова*. Я сразу понял, что больше в жизни я его не увижу, настолько это была колоссальная редкость. И я пришел к маме и (*надрывисто*) говорю: «Мама! Букинисты продают пятитомник Хлебникова. Стоит (*с расстановкой*) сто рублей». Мама мне сказала: «Мишенька, покупай, (*сквозь слезы*) еда у нас будет очень простая, но голодать мы не будем». (*Срывающимся голосом*) Я просил ее надписать, что она его мне подарила (*плачет*). Этот подарок мамы у меня и до сих пор остался, пятитомник Хлебникова. (*Отчаянно*) Сознаться, что у вас нет пятитомника Хлебникова!

К.: Нет.

Т.: Сознаемся, что нет.

П.: Потому что это на самом деле колоссальная редкость!

З.: Нет, ну это, конечно, редкость, и молодец мама, ничего не скажешь. Хорошая, умная мама.

П.: Вот. Ну, и на самом деле она нас кормила только кашами.

З.: Да.

П.: Вот. Ну вот. Тут я кончаю мой разговор о школьных годах, хотя школьные годы были длинные. Насколько была радостной жизнь *до* школы... И я помню – вот осталось впечатление: мама только что вернулась из больницы (она болела тифом), до чего красивая! Были у нее длинные волосы, как у женщин тогда большинства, – она вернулась остриженная, как девочка, до того красавица! Вот тогда я ее впервые увидел, эту короткую женскую стрижку, и навсегда влюбился в нее. В узенькой юбочке дудочкой, которые тогда носили, ну просто девчонка. А я тоже болел, и вернулся – глядь: выбегает ко мне навстречу (*смеется*) какая-то девчонка. Юбочка дудочкой, острижена. Боже мой, кто такая?! Да это мама (*смеется*) прибежала!

Ну вот. Это была счастливая пора, а потом наступила школа. Это был ад. Грубость учителей... Были хорошие учителя: Шершнева Надежда Александровна... но я ей простить не могу – иногда она больше, чем меня, хвалила других (*К. смеется*) учеников, которые писали сочинения совсем не лучше меня, на всяких шаблонах. Был ученик Коган, он написал сочинение все на шаблонах: «Мрачная эпоха Николая Палкина наступила, и ночь опустилась над Россией», – в таком духе. Она прочла мое сочинение и сочинение этого Когана, все на шаблонах построенное. «Чье лучше?» – спрашивает она у класса. Глупый класс, где у меня вообще не было друзей, кричит: «Коган! Коган!» И Надежда Александровна вдруг меня предала – говорит: «А как – вы не родственник Петра Семеновича Когана, известного литературоведа?» (вульгарного социо-

лога – это я добавляю). Вот. Самодовольный Коган говорит: «Нет, ведь это же по наследству не передается», значит, необыкновенный талант. И Надежда Александровна сказала: «Бывает, бывает». Но после этого я ее разлюбил. (*К. смеется.*)

З.: Ну, это была ревность.

П.: Вот. И когда я потом... она в следующем классе, в шестом уже, нас... в седьмом, не учила, я всегда, когда встречал ее в коридоре в школе, всегда здоровался с ней исключительно холодно. (*К. смеется.*)

Т.: Наказали.

К.: Ревнивы.

З.: Ревнивый, ревнивый.

П.: Да.

П.: А потом была вот эта Караванова, о которой я говорил, Надежда Максимовна, очень хорошая. А потом пошли все эти [нрзб]. Ну, в общем, за исключением немногих учителей, всё была страшная серость. Кроме литературы, я по всем предметам учился очень средне, и если «математика» мне ставили удовлетворительно, то только чтобы не ссориться с литературным преподавателем. А потом настал рай. Вот я ничуть не завидую тем, кто попадет в рай, потому что я был уже в нем. (*К. смеется.*) Это Мосгорпединститут.

Т.: Вы рассказывали о нем.

З.: Да.

П.: Да. Это я опущу.

П.: Вот я бы рассказал еще немножко о Сухотине – то, чего я не рассказывал. Нас воспитывали в антимарристском духе. С одной стороны – это я рассказывал, – Сухотин на лекциях его расхвалил... а потом всячески объяснял, что он пустышка. И вдруг студент третьего курса Миша Панов заявляет, что он на лингвистическом кружке хочет прочесть доклад «Интеграция и дезинтеграция языков». Что сделал бы всякий обыкновенный преподаватель, профессор – вот что бы я бы сделал? Ну, я бы на студента ногами топать не стал и затрещину бы ему не дал, но я бы поиздевался – я бы: (*раскатисто*) «Вы-ы?! (*Надменно смеется.*) «Интеграция и дезинтеграция языков»? Вот через тридцать лет станете...»

К.:...Пановым.

П.: «...членом-корреспондентом – вот тогда вы об этом будете говорить. Это разве тема для студента? Да что вы знаете? Да как вы осмелились в моем присутствии такую тему назвать?» Ну, в общем, я бы распалился – ну, я преувеличиваю немножко, в общем, студентов я тоже не угнетал, – но Алексей Михайлович и усом не повел (у него были усы) и сказал: «Ну что же? Сделайте».

З.: Я больше похожа на Алексея Михайловича, я бы тоже сказала: «Хотите? Ну, пожалуйста, сделайте».

П.: Вот. И я понял, зачем он так сказал. У меня была мысль... почему я решил... Марр кричал, что история языков – это их интеграция: они сливаются, сливаются, сливаются, – на глупейших примерах. А компаративисты (ну, мои учителя все были компаративисты), значит, говорили, что они расходятся, расходятся: был индоевропейский общий язык, а потом он распался на массу семейств индоевропейских языков. И я придумал, из пальца высосал (видите, какой тонкий, это потому, что я очень много (*смеются*) всего высасывал), что есть *интеграция* языков – она совершается путем революции языковой (революция – это слияние языков, когда возникает новый совершенно язык, не тот, который был, это языковая революция), и есть *дезинтеграция*, когда языки распадаются... они еще вначале очень похожи, русский и украинский, а вначале южнорусский и севернорусский были. Вот, и я эту идею развивал неубедительно, на всяких... я все-таки читал об этом много, я одолел... не все тома, пять томов...

З.: Марра.

П.:... Марра, большущие тома, а многие вещи прочел. Между прочим, сейчас в моей библиотеке есть пятитомник этого Марра. Вот кому-то он достанется – хлебнете вы с ним горя (*смеется с К.*).

З. (*задумчиво*): Да.

П.: Так вот, я так это и рассказал о том, что при революции появляется новый невиданный язык, это *Pidgin English*, это вот колониальные языки, которые непонятны тем, кто владел местными, туземными языками, их надо отдельно изучать, это ломаный язык. «Моя но твоя». Появляется новый совершенно язык: фонетика – английская, грамматика – частично английская, частично на туземных языках. А если дезинтеграция, распадается, то появляется... скажем, русский язык четырнадцатого века, но он понятен тем, кто владеет русским языком тринадцатого века.

Ну вот. Алексей Михайлович меня не высмеивал, он просто сказал: «Новая мысль, которую я не читал, – вот это у Панова такая-то мысль, правильно ее изложил. Но я думаю, что вы не правы», – сказал он и показал, насколько это более сложный процесс, чем я представил. Вот это развитие многих языков из одного, дезинтеграция, сопровождается интеграцией. Русский язык *вышел* из общего языка восточнославянского, но он и *включил* в себя многое. Русский язык – справедливо говорят, что он отчасти южнославянский, потому что церковнославянский был ему привит всей историей русского языка. Русский язык и восточнославянский, но с огромным вкраплением наследия южнославянского, которое через болгар нам было передано. Поэтому говорить о том, что здесь только дезинтеграция, нельзя, и интеграция была. Ну, а о том, что *Pidgin English* имеет какое-то значение – ни один *Pidgin English* не породил литературного языка, литературы на пиджинах не существует. Ну, в общем, все-таки я был не обижен, он мою мысль понял, он меня не высмеял, я был очень рад. Вот.

З.: Мудрый учитель, ничего не скажешь.

П.: Но я получил прививку антимарровскую, поэтому, когда в пятидесятом году (видите, я семимильными шагами шагаю, уже я аспирант) в «Правде» была напечатана, девятого мая как раз, в юбилейный день – у меня, между прочим, вся эта дискуссия сохранилась, – статья Чикобавы на целый лист, и такое введение: «Мы начинаем открытую дискуссию»... нет, «Мы начинаем *свободную дискуссию*»... Это было страшно чудно. [Нрзб] «свободная дискуссия» – это все равно что «эта аптека продает лечащие лекарства» (а какие другие?) или «между этими двумя городами пущены едущие поезда». «Свободная дискуссия» – удивительная дикость. Но я решил в ней принять участие. Моя статья – я ее туда послал – не вызвала никакого отклика, ее не напечатали, конечно. Если в газете «Правда» сохранился архив дискуссии, то там она есть. Но я скажу, что я горжусь этой статьей.

З.: А что там?

П.: Мы со Сталиным единственные (*К. смеется*), кто заявил, что язык не является надстройкой. (Ну, там могли получить еще от десятков людей, кто это написал, что язык не надстройка.) А это была главная мысль Марра: язык – надстройка, он имеет классовый характер, поэтому все языки классовые, русский язык сейчас пролетарский, а раньше был он буржуазный и дворянский. Ну вот. Про Марра я очень нелюбезно написал. Мне запомнилась моя формулировка, потому что она очень нехорошая. Я кончал так, сердито: «Вместо того, чтобы молитвенно созерцать заднюю Марра, надо заниматься настоящим изучением языков» (*Г. усмехается*). Но так как «заднюю Марра» – это совершенно разговорное, неудачное выражение..., но на другое выражение... «вместо того чтобы изучать *задницу* Марра», я не решился. (*Смеются с К.*) Ну вот.

К.: Поразительно.

П.: Ну, в общем, это было очень сердитое антимарровское выступление.

З.: Она сохранилась? Сохранился у тебя текст?

П.: Может быть, сохранился, но под руками нет. Наверное, сохранился даже черновик. И когда Сталин выступил, вот некоторое время я его любил, потому что хотя он многое и неточно сказал, и неверно, но все-таки он сказал важную мысль, что то, что изучают компаративисты и изучали весь девятнадцатый век, и мои учителя, – это истина, вот. Опять-таки скажу, как реагировала на это большевистская рать. У нас в Мосгорпединституте – я уже преподаватель – преподавала марксизм-ленинизм Грекова. Не И. Грекова, которую вы любите, а И. Грекова, к которой вы относитесь с заслуженным презрением. Это И. Грекова, которая написала книгу «Моя жизнь», и предисловие к ней написал Максим Горький, всячески ее расхваливал, но что писала она, а что писали за нее, трудно сказать. Она батрачка, и вот Горький все это рассусолил: «Она настоящая батрачка, а сейчас пишет книги». Боже мой, какая это была преподавательница! Совершенно безграмотная. Студенты страшно любили ее лекции, потому что наперебой друг перед другом записывали глупости, которые она сказала (*К. смеется*). Я вот думаю, если они уничтожили их, то это очень жаль, потому что это надо как... марка этой фирмы, глупости невероятные. Ну, я сейчас не вспомню, и это неважно.

У нас был другой, когда я был еще студентом, преподаватель тоже, из ГПУ, сотрудник ГПУ. И он не имеет никаких знаний, но он нам читал марксизм-ленинизм... практические занятия все-таки вел. И вел в таком духе: «Деборин был меньшевик, и потом он переметнулся к большевикам, но Ленин всегда учил: „Как только он начнет нести меньшевистскую вредную ерунду, сейчас же его хватать и тащить в тюрьму!“» (*Усмехаются с К.*) Ну, в общем, марксизм всегда преподают убогие. И вот это опять-таки, когда таким языком преподают... Итак, значит, чтобы закончить с большевистским языком, который тоже ранил. Я – учитель, наблюдаю за дисциплиной, хожу по коридору той школы, где работал. Две умницы удивительные, Макеева – Чихачева (я даже их фамилии запомнил), подходят с лисьиими улыбками ко мне на перемене: «Михаил Викторович, а по-русски можно сказать: „Мы вырешили эту задачу“?» Я думаю: «Ах вы язвы! Это же просто цитата из „Краткого курса...“», который я, между прочим (в сторону реплика) (*с расстановкой*), я экзамены по этому курсу сдавал одиннадцать раз, и поэтому я знаю, где что написано. Я говорю: «Вы так не говорите». Лисички ходят-ухмыляются. Еще раз подходят ко мне – я уже в страхе. «Михаил Викторович, а можно сказать: „И эту теорию похоронили в гроб“?» (*К. смеется*.) ...Они обе были Лиды... я говорю: «Лиды-Лиды, вы так не говорите». Хитрюги, только усмеваются. Ну, в общем, их поистине надо бояться было, но они, правда, не говорили, что я развенчиваю «Краткий курс партии».

К.: А кто «Краткий курс...» писал?

П.: Сталин, Сталин.

К.: Сам Сталин?

П.: Вначале говорили, что его написали коллективно, а потом включили в собрание сочинений. Но у нас до этого тома не дошло, а на Западе... было в плане включено, и на Западе... на Западе ведь закончили собрание сочинений Сталина, там выпущено двенадцать томов, а у нас до седьмого выпустили, и – стоп!

З.: Неужели все он писал? Как-то это все-таки удивительно.

П.: Нет, ну «Историю партии», конечно, писали и...

З.: Вот эту великую главу, четвертую, или какую – вот, конечно, он.

К.: Чего-нибудь, наверно, написал.

З.: А включили, чтобы было больше сочинений.

П.: Второй раз я обращался в верхи... ну, первый раз – это вот с письмом в «Правду», второй раз я написал письмо Брежневу о том, что надо амнистировать Синявского и Даниэля. <...> когда я писал, я не видел в этом никакой крамолы: член партии обращается к главе партии о том, что потом будет стыдно, вот. Письменно ответа я не получил, но когда прошло уже время, месяца два, вдруг мне в Институт русского языка звонят из ЦК: «С вами говорит инструктор ЦК по поручению...», как там?... «Леонида...»

Т.:...Ильича.

П.: «...Ильича Брежнева. Он поручил мне ответить вам, что ваше письмо получено и ответ на него вы прочтете в газетах». Но в газете была травля Синявского – Даниэля. Вот. Не тоскуйте, я заканчиваю.

З.: Мы не тоскуем.

К.: Михаил Викторович, и что – это было всё или потом было какое-то продолжение, вас стали с работы как-то уходить?...

П.: Вот мне ответили по телефону...

К.: И всё.

П.: И всё. «Мне поручил Леонид Ильич ответить вам. Ответ на ваше письмо читайте в газетах», то есть никакого ответа, по существу, нет. <...>

П.: Я не стал скрывать в комячейке. Не знаю, вы знаете или нет, Елена Андреевна, но я сказал, что я послал письмо в ЦК Брежневу с просьбой *амнистировать* Синявского – Даниэля, я ничего незаконного не просил.

Т.: Какие это годы, Елена Андреевна? Шестьдесят шестой?

К.: Шестьдесят шестой – шестьдесят пятый, вот, наверно, так.

П.: Ну, партийная организация об этом знала, я не скрывал.

Т.: Это тогда, когда шел судебный процесс.

П.: Когда они были уже осуждены.

П.: Я просил амнистировать, поскольку я не мог просить, там, прекратить процесс или что-нибудь еще. Вот.

Т.: А вы не знали Синявского? Андрея Синявского?

П.: Я лично их не знал. Вот так. Никто на заседании партячейки даже не обратил внимания, настолько это казалось естественным.

К.: Это смотря где, Михаил Викторович. На филфаке была другая ситуация, их всех заставляли там подписывать какое-то письмо.

Т.: В университете.

П.: Это было все равно очень им плохо, потому что их сокращали и так далее. Эта ситуация вовсе не была лучезарной.

К.: Да.

К.: Конечно.

П.: Так, значит. Ну, мне это прошло. У меня все время было такое впечатление, что эти блюстители партийности – это отбросы. Приезжал Якобсон...

Т.:...Роман.

П.:...во время первого... в Москве, на самом деле IV съезда славистов 1958 года. У нас вышло четырехтомное исследование «Русский язык советского общества».<sup>2</sup> Вокруг Якобсона толпился народ, ну, я подождал, пока схлынет, и вручил ему эти четыре тома, мы подписывали его. Подходит ко мне Катков, такой носитель большевизма в Институте русского языка: «Вам не кажется, что это не отвечает достоинству советского ученого – стоять очередь к Якобсону?» Конечно, он приехал после долгого отсутствия, конечно, к нему многие хотят подойти и что-то сказать, конечно, мне пришлось ждать, когда какие-нибудь пять-шесть человек отойдут. Вот. «Вам не кажется, что это не отвечает достоинству советского ученого?» (*Пауза.*) Чтобы с этой темой тоже кончить. Нет, я еще буду о Аванесове говорить.

З.: Сейчас. Я два слова скажу только. Сергей Иванович Катков был заместитель директора нашего института, такой сверхпартийный человек.

П.: Да. Ну, и вот я все время встречал, что блюстители этой партийности – это отбросы, как лекторы в Мосгорпединституте, так и так называемые ученые. Я думаю, что Катков все-

---

<sup>2</sup> Точное название «Русский язык и советское общество». М., 1968.

таки был ученым, он издал какие-то рукописи, документы шестнадцатого – семнадцатого века. (*Затяжная пауза.*) Ну вот, значит. В это время Рубен Иванович Аванесов, мой замечательный учитель (о котором сейчас не буду говорить, потому что слишком много), написал в пятьдесят шестом году фонологическую работу, исследование, труд, где пытался пересмотреть фонологическую теорию москвичей. Рубен Иванович со мной разговаривал много, но я считаю, что это снижение уровня, и прямо ему сказал, что я не разделяю его новых взглядов. И стали все говорить, что он ищет золотую середину между традиционно московской школой, старой, и Щербой, хотя это была совсем другая середина – между Трубецким и Московской школой. И вот во время моей защиты докторской диссертации выступает Журавлев, очень симпатичный молодой человек, и говорит: «Хорошо сделал Аванесов. Он ищет дорогу в Бологое между Москвой и Ленинградом». Ну, меня это очень затронуло, и я сказал: «Да, Аванесов...». Я хотя не разделял эту точку зрения, но считал, что это важный шаг все-таки в фонологии, такая точка зрения *должна* быть высказана. Я говорю: «Но только он ищет другую середину – между Москвой и Прагой. Это дорога в Прагу». Был сентябрь шестьдесят восьмого года, и танки наши стояли в Праге. Подходит ко мне Катков...

З.: Опять Катков.

П.:...и говорит: «А вы не подумали, что вас могут не понять и перетолковать ваши слова?» Думаю: «Речь идет о фонологии, при чем тут вся политическая ситуация?» Ну видите, какие были идиоты. Я, может быть, рассказывал, как меня отринул Сидоров, а потом принял в свои объятия.

З.: Это вы рассказывали. Михаил Викторович, а вы, может быть, расскажете, как вы уходили из института? Или не хотите?

П.: Из вашего института?

З.: Да.

П.: Я хочу рассказать тогда, ну, ладно, о том, как меня исключили из партии. Значит, как меня *приняли* в партию. Мой отец служил в царской армии. Когда рухнул Брестский договор и немцы стали наступать, он, по своей старой офицерской чести, решил, что Россию надо защищать, и он пошел в Красную Армию. В двадцать пятом году ему сказали: «Панов, надо вступать в партию. Хоть ты и был офицером до революции, но мы тебе дадим хорошие рекомендации. Вступай в партию». Папа мой сказал: «Не могу». – «Ну, мы тебе дадим рекомендации, тебя примут». – «Не могу. Я верующий». – «Ну, это пустяки, мы тебе все объясним» (*К. смеется*). Папа говорит: «Ничего мне не надо объяснять. Верующий – на этом конец». Ему говорят: «Тогда надо уходить». И он в двадцать пятом году ушел. Теперь я только прочел – понял, почему двадцать пятый год. В двадцать пятом году ликвидирован институт комиссаров, и всю комиссарскую работу должен проводить был командир подразделения, и сочли, что для комиссарской работы беспартийный не годится.

И так у меня было просто убеждение, что в Красной Армии командир должен быть партийным, а так как меня учили на командира-артиллериста, я был младший лейтенант, я понял, что это просто... Подошел ко мне замполит нашего дивизиона. Хороший был человек (вот, пожалуй, единственное исключение среди большевиков): он брал сторону бойцов, защищал их, не чуждался общения с ними. Он приходит как-то на позицию и говорит: «Панов, мы тебя принимаем в партию. Одну рекомендацию дает партийная организация, другую даю тебе я» (это честь-то какая: замполит, полковник дает мне рекомендацию), «а за третьей придешь в штаб, когда стемнеет, и получишь от командира дивизиона». У-у-у! какая у меня протекция. А я честно говорю (вот Елена Андреевна меня осуждает), что был очень рад, что я в штабе увижу женские лица. Парню, которому двадцать, что ли, там, было шесть лет, двадцать пять лет, не видеть месяцами женское лицо... все вокруг бородачи, бородачи да и усачи, и я думаю: «Погляжу-у! (*слушатели усмеваются*) какие они бывают».

Пришел, значит, когда стемнело: «Товарищ полковник, младший лейтенант Панов за получением от вас рекомендации в партию». Он говорит: «А кто еще дает?» Ну, я сказал. Ну, вот он видит, что рекомендация, и говорит: «Маня! Отстукай ему, как всем». И Маня тр-р-р-р-р тр-р-р-р-р тр-р-р-р-р тр-р-р-р-р – только дым идет от машинки! Бах! бах на стол ему! Даже не повернулась ко мне, я ее не видел. (*Смеется.*) Но получил. И так я стал членом партии. У меня было такое мнение, что, раз мне дали образование, звание младшего лейтенанта, не уйдешь...

Ну, вот теперь это, значит, последнее, коренное... мой... как этот номер называется?.. смертельно опасный номер (*смеется*). Стали меня проверять в райкоме. Но я сказал, что я посылал письмо вот... потому что если потом *откроют*, что я скрыл, – я обманул партию, я трусливо ушел в кусты. Я сказал, что я в свое время написал письмо товарищу Брежневу о том, что, по-моему, он должен амнистировать. Они это письмо раздобыли из архива Брежнева. И вот начинается разбор старых коммунистов. Они судят меня за это уже... меня судили... Да, я... вот видите, что значит склероз... я написал еще *второе* письмо.

З.: Ну, вот я все и жду. Самое-то главное (тут я скажу, можно, два слова?), что Михаил Викторович написал письмо – не Брежневу уже, а в ЦК – о положении в Институте русского языка.

П.: О травле замечательных ученых. Причем кто травил? Это опять гнусные большевики Бахилина...

К.: Какой год?

З.: Наверно, семидесятый.

П.:...Бахилина, Теплова и все прочие – их, наверно, десяток.

З.: Это после дела Апресьяна – Мельчука, вот это вот, которые уже заступались за...

П.: О том, что вот существует антисоветское какое-то крыло в институте (подполье, правда, они не говорили).

З.: Да-да-да.

П.: И стали: вот, я работал на контрреволюцию. Трубачев, замдиректора института, сидел и от каждого заведующего сектором требовал: «А что вы скажете?...» Значит, какие-то работники института написали письмо в Центральный Комитет, Брежневу или куда-то, где говорили о том, что, ну, в общем, в институте положение абсолютной травли выдающихся ученых. Меня-то никто не травил, потому что я заранее им сказал. Ну вот. Трубачев два раза ко мне обращался... Это поставлено было так: заведующий сектором должен укорять подписанта, должен его срамить, должен говорить, что подписант должен дать обязательство, что он больше не будет так плохо поступать. У меня в секторе была милая Ламарочка Каранадзе подписант. Сам я тоже был подписант, но ввиду того, что я раньше уже сказал...

З.: Ты это единолично написал... Не коллектив.

П.:...то меня в это время не привлекли. Но я два раза Трубачеву сказал: «Я говорить ничего не хочу». Представляете, мою милую Ламарочку... она была не только мой студент, она была мой ученик в школе и человек, который мне был просто человечески близок, и ее порицать я уж никак не мог. Ну вот. Я написал письмо, потому что я видел, что их собираются исключать, убирать из института. Тут мне повезло. Во-первых, меня исключили из партии. (*Смеется.*) Что вы смеетесь, Елена Андреевна? Во-первых, меня исключили из партии. Но я не ходил на заседание партийной ячейки в Институте русского языка, просто не являлся – и всё, так что я, как меня ничтожил институт, не знаю, а как меня ничтожили старые коммунисты в райкоме партии, я вам могу рассказать. Это я никому не рассказывал, в том числе и вам. Вызвали меня на коллегию старых коммунистов. Я удивляюсь, как никто не подумал о том, что надо все-таки пригласить образованных людей. Пришел на коллегию. Сидят... такие морды поганые – необразованные, тупые, серые. Они нашли мое письмо в архиве Брежнева. «Вот, товарищ Панов...» – это член коллегии или группы, что ли, я не знаю, старых коммунистов...

З.: Это в райкоме партии, это высокая инстанция.

Т.: Всё, поняла.

П.: Это предпоследняя ступень.

З.: В институт Михаил Викторович не ходил тогда.

П.: «Вот, Михаил Викторович, вот вы писали письмо в защиту людей, которые, пренебрегая своим долгом гражданина, заступаются за тех, кто подрывает нашу социалистическую демократию. Как вы думаете, это укрепляет?... Вы знаете, что у нас пролетарская диктатура?» Пролетарской диктатуры уже не было. Комиссия Куусинена приняла резолюцию, принятую еще *Хрущевым*, о том, что у нас всенародное государство, а не диктатура пролетариата. Но меня предупредил Левин – он говорит: «Имейте в виду, что вас в партии не оставят. Вот я сделал ошибку, я слишком много говорил и пытался их убедить, это совершенно бесполезно». И я понял, что мне говорить особо там не стоит. И вот он мне задает вопрос: «Укрепляет ли это нашу пролетарскую диктатуру?» У меня был один из двух выходов – ему объяснить, что комиссия Куусинена решила, что у нас уже не пролетарская диктатура, а общенародное государство, но я решил: ему надо, значит, долго объяснять, он ухитрился не знать... ведь последний съезд партии...

З.: Он, наверно, ничего не читает и...

П.:...это принял, это в *Конституцию* уже даже вписано. Я решил ответить как можно короче. «Знаете ли вы, что у нас диктатура пролетариата?» Я говорю: «Да». – «Как вы думаете, это укрепляет, ваше поведение, диктатуру пролетариата?» Я нахально говорю: «Да. (*К. смеется.*) Еще Ленин учил, что талант надо беречь». (*Смеются с К.*) Это он в своей статье об Аверченко, где он явно так иронию использовал. Ну вот. Ну, они настолько остолбенели от моего нахальства, что больше по этому вопросу не спрашивали.

П.: Тогда выступает какой-то, по-моему, по национальности он скорее грузин, по состоянию ума тоже дурак (*К. смеется*). Сейчас я вспомню, чего он там нес. «Вот вы говорите, что они талантливые люди» (значит, Синявский – Даниэль), (*испытующе-ехидно*) «а откуда это вы знаете, а? Вы что – вы их читали?» Смысл такой, что их запрещено читать простым советским людям. Ну, я мог бы тоже ответить, что мы написали книгу «Русский язык и советское общество» и имели доступ в секретный этот самый отдел, и читали все, что хотели. Наверно, можно было ответить: «Это вам нельзя читать, а нам, ученым, это *молено* читать» (*К. смеется*). Но я решил ему короче отвечать. «Где это вы читали? Откуда вы получаете эту самую запрещенную литературу? Кто вам передает?» Я ему ответил: «Синявский – это известный советский критик. Он выступает в печати в разных журналах, и я читал его талантливые статьи, поэтому я мог написать, что он талантливый человек». – (*Манерно*) «Товарищ Панов, вот почему вы такой скользкий? Вы вот все время выскальзываете». Хотел я было... я очень рассердился, хотел [нрзб]: «Почему вы такой липкий и вонючий?» (*К. смеется.*) Но я потом подумал, что из этого могут сделать историю... <...> И вот сказал просто, что он много выступает в печати и ничего крамольного здесь найти нельзя. Но здесь стали вставать, какая-то тетушка кричала: «А теперь-то, теперь-то вы как оцениваете свой антисоветский поступок?» Я вижу, начался шумок, считал, что кончен разбор, и устремился к выходу. Вот.

Теперь о радостном хотите – что вы будете радоваться и говорить: «Панов, у тебя были светлые минуты в жизни».

К.: Да.

З.: Да, хотим.

П.: Значит, надо было... назначено уже на райкоме, это последняя ступень. Там кончилась лента? (*Спрашивает о магнитофоне*)

Т.: Нет-нет-нет, не беспокойтесь.

П.: Позвали меня на райком исключать,... но мне совершенно очевидно, что явно стараться остаться в партии мне не следует. Пришел, а это был день выдачи зарплаты. Я уже уходил из института, это была одна из последних моих зарплат в институте. Пришел и получил

зарплату – какие-то деньги, сравнительно, там... не очень маленькие. Осталось мне два часа до райкома – куда деваться? И я пошел... (*Обращаясь к К.*) Я вам рассказывал это, Лена?

К.: Это хорошая история.

П.: И я пошел на Арбат. На Арбате за театром... (*Обращаясь к З.*) Я вам рассказывал?

З.: Нет.

П.:...За театром Вахтангова есть букинистический магазин. Я очень люблю Андрея Белого, и у меня есть такие редкостные книги, как «Символизм» (вот такая книга, редкость невероятная, и у букинистов редкость), у меня есть вторая книга его, критические статьи, это «Луг зеленый» (очень нехорошо он назвал, потому что лук зеленый – это в отличие от репча-того, а это «Луг зеленый») – книжка тоже у меня есть, но у меня не было книжки «Арабески», вот такая толстенная книга; третья книга его – а у меня ее нет. Пошел я с деньгами... Елена Андреевна велит говорить «с деньгами»...

З.: Нет, я не велю. Я даже запишу.

П.: Вот. Ну, значит, пошел в букинистический магазин на Арбате. Боже мой!

З.: «Арабески»?

П.: «Арабески».

З.: Ура!

П.: Денег хватило, я купил, в портфель спрятал и на крыльях (*З. смеется*) помчался в райком исключаться из партии (*З. и Т. смеются*).

З.: Это действительно хороший знак был.

П.: И все время, когда они меня... да со мной там недолго разговаривали, вообще все уже поняли, что это дело хорошо, когда оно коротко, но все время я слушал – что-то они там... а слух у меня был лучше, так что я кое-что и слышал, – они там меня поносят, а я думаю: «А у меня „Арабески“» (*З. и Т. смеются*).

Т.: Это замечательно, да.

З.: Замечательно, действительно. (*Г. смеется*.) Замечательно.

П.: И в радужном настроении побежал домой.

П.: Так счастливо закончилось мое партийное присутствие.

Т.: И после вы уже не были в институте? Или вы еще вернулись в институт?

П.: Нет, нет-нет. Нет, больше я туда не ходил.

К.: То есть исключение из партии – это автоматически...

П.: У меня поведение было другое.

К.:...было исключение из института, да?

З.: Нет, по-моему, Михаил Викторович еще раньше ушел.

Т.: А как назывался институт [в который ушел М. В. Панов]?

П.: Институт национальных школ.

П.: Институт национальных школ был из филиала Академии педнаук преобразован в отдельный институт, и директором его назначили партийного функционера, заместителя... члена Центрального Комитета... видите,...на защите диссертации, и не хватало им докторов. Доктор, исключенный из партии, – это ничего, что исключенный, для Ученого совета, им важен доктор, а меня [нрзб.] из докторов тогда не исключали. Ну, и вот он меня принял старшим научным сотрудником.

Т.: А! А где он находился, Михаил Викторович?

П.: Он все время менял место. Он находился при министерстве...

З.:...среднего образования, наверно, да?

Т.: Да?

П.: Наверно, министерство какого-то образования (*Т. усмехается*). Но не начального.

<...>

П.: Не высшего – не начального. По методу исключения выходит – среднего.

З.: Находился он на краю где-то света, и было это такое болото. А я хочу несколько слов...

Т.: Да, вот реплику вашу.

З.: ...просто вам для ясности сказать, что было в институте.

П.: Что?

З.: Я хочу немножко слов сказать о том, что было в институте и в чем это второе письмо состояло.

Т.: Да-да-да.

З.: Письмо было очень большое. Я его тоже читала, мне Михаил Викторович его показал заранее.

П.: ...потом они устроили экспертизу Института психологии. Я там написал, что травлей довели Веселитского... Веселитского, да?...

З.: Да, Веселитского.

П.: ...до смерти, до самоубийства. Они организовали... приехал доктор психологических наук: «Мы проверили все данные. Нет, это не было самоубийство, просто он в пьяном виде перешагнул балюстраду балкона». Какой пьяный вид ни будь, но все-таки через перила перелезть очень трудно. Но я сказал: «Раз экспертиза установила, я не имею оснований на этом настаивать». Потом Левин говорил: «Вы зачем отказались? Ну все равно вас исключат». Я говорю: «Не мог, потому что экспертиза есть экспертиза, что поделаешь?»

З.: В общем, было очень много, кроме вот истории с тем, что...

П.: Что?

З.: Кроме того, что писали письма в защиту Синявского и Даниэля, подписывали их коллективно, там, и Мельчук, Апресян, и другие, кроме этого, в институте была очень тяжелая атмосфера. В частности, вот Веселитский выбросился с балкона. Это был молодой сотрудник, никакой он был не пьяница... Веселитский. Никогда он не был пьяницей, серьезный сотрудник такой... Я бы сказала, одинокий молодой человек, и вот... В общем, все думали и считали, что это самоубийство и что... Над ним действительно издевались – даже не знаю, по каким причинам, по-моему, он не был членом партии, ну, как-то, в общем, муштровали его.

П.: Нет, его преследовали явно.

З.: Да, преследовали непонятно почему. Ну, и вот Михаил Викторович несколько таких фактов в этом письме изложил, и все это потом было оценено как клевета на положение в прекрасном Институте русского языка.

П.: Лена, вы знакомы с тем, как партийная организация?... Меня вперли на один год секретарем партячейки. Боже! Я говорил, когда мне... Вы были свидетелем?

З.: Я это знаю, Михаил Викторович, все помню, да.

П.: Вот. Я говорю: «У меня голова болит, не избирайте меня секретарем!» И даже инструктора райкома я убедил. Он говорил: «Не надо, не надо его избирать. Вы видите, он говорит (*К. смеется*), что у него голова болит». Но тем не менее целый год я был секретарем. И вот партийная организация все время требовала, чтобы я поставил перед Виноградовым вопрос о том, чтобы он ушел с должности секретаря отделения. Вы не знаете эту историю? На каждом партийном заседании: «Он же все свое время уделяет... вот академик... то, что он академик-секретарь Отделения литературы и языка. Он должен все свое время уделять Институту русского языка. Вы должны с ним серьезно поговорить, чтобы он оставил отделение». Почему он должен оставить Отделение, когда он [академик-секретарь]?

З.: Они хотели для Филина, что ли, это место?

П.: Что?

З.: Хотели это место для Филина? Какая у них была идея? Ведь это не просто так они требовали? <...>

З.: Хотели, чтобы Виктор Владимирович ушел, а вместо него был Филин? Чего?...

П.: Ну, может быть, да.

З.: Я не знаю, зачем им иначе это было?

П.: Не знаю. Ну, в общем, я просто не знаю, как я мог поговорить с Виктором Владимировичем, когда у меня нет никаких аргументов? Почему он должен уйти? У него обе должности: директор Института русского языка и академик-секретарь Отделения литературы и языка Академии наук.

Т.: Понятно, да. Две должности.

П.: Ну о чем я с ним буду говорить? «Виктор Владимирович, а вы бы ушли бы с должности академика-секретаря?» Почему? Хотя он вполне образцово в общем справлялся со своими обязанностями. Тогда я говорю: «Вы свои претензии...» или «мы свои претензии должны изложить самому Виктору Владимировичу. Пригласим его на партийное собрание». Пригласили. Львов: «Виктор Владимирович, вот нельзя ли уменьшить вашу нагрузку в секторе... в Академии наук?» Кто-то из этих дам, кто-то из них, партийных... Я забыл – как Львова звали? Андрей Степанович, кажется...

З.: Неважно. <...>

П.: «Вот вы считаете себя гениальнее самого Виктора Владимировича. Какие у вас основания делать свое предложение?» То сами все время орали... И вдруг один предложил вот сократить – не уйти, а как-то уменьшить. «Вы считаете себя гениальнее Виктора Владимировича». Ну такое подхалимство! Человеку сказать, что он гениален, то есть это... глупо.

З.: Подлизы, как дети говорят.

П.: И они все в таком подхалимстве расписывались. Но я был очень рад: прекратилось после этого требование, чтобы Виктор Владимирович ушел.

З.: Я думаю, что наступило время торта.

Т.: Да-да, надо отдохнуть.

*(Перерыв в записи.)*

З.: Очень много интересного.

П.: Бархударов меня похвалил за мое секретарство.

З.: Да?

П.: Обычно секретарем низшей партиячейки бывают два года.

Т.: Два года?

П.: И вот Бархударов ко мне подходит во время пере выборов (меня на второй год не избрали): «Вот если бы вы что-нибудь делали, я бы голосовал за вас, а так – не буду». *(Смеются.)*

Т.: Да, вообще ситуация сложная, конечно, была.

П.: Но Бархударов [нрзб.] себя хорошо вел.

К.: А вот вы записываете, это очень здорово, это просто для себя или...

Т.: Нет, это...

З.: Для истории.

Т.: Для истории.

К.: А вот жалко, что я не знала. Может быть, было бы в следующий раз, если вы будете еще это делать, на видеокамеру записать.

*(Перерыв в записи.)*

П.: Что бы я просил – вот то, что вы сегодня записали, при моей жизни не публиковали.

Т.: Хорошо.

П.: Это не наука, а где-то около, рядом.

Т.: Да, это вокруг. Так и договоримся.

П.: Отдельным лицам – пожалуйста, читайте. Но не общественности.

Т.: Нет-нет. Даже отдельным людям, я думаю. Ну, вот Елена Андреевна, Леночка свидетель этого. Так что мы... <...>

П.: Лена, а как вы узнали, что у меня сегодня гости?

К.: Я никак не узнала, просто я записана на сегодня.

П.: А-а!

Т.: А вы часто бываете, простите?

К.: Ну, стараемся.

Т.: Да? Это дежурство?

К.: Нет, это любовь.

Т.: А-а! замечательно. (*Смеются с К.*) Простите!

П.: Разных конфет много. Там пряники есть на столе.

К.: Ага, хорошо, Михаил Викторович.

Т. (*полувопросительно*): У вас каждый день кто-то бывает?

П.: Нет, раз в четыре, в пять, в шесть дней.

Т.: А! Над чем вы сейчас работаете, кроме вот этого школьного словаря?

П.: Я хочу закончить работу, которой занимаюсь всю жизнь, а именно: написать историю русской поэзии как чистое движение эстетических форм. Как не политика движет поэтом, не религия, не медицина, не, там, то-сё, не физкультура, не экономика, а переживание – эстетическое переживание произведения искусства, именно поэзия. Вот я хочу об этом написать.

Пока их нет, а то они запретили бы. Я первый раз написал такую работу... Я был знаком с Корнеем Ивановичем Чуковским, и он иногда более или менее любезно реагировал на мои всякие рукописи – ну, более именно, так сказать, в силу любезности, – и я первую свою вот такую работу «История поэзии как эстетического феномена»... Но я не знал, что он все время спорит и ссорится с формалистами... с обэриутами, а у меня был сплошной... (не с обэриутами, а с опоязовцами...) сплошной ОПОЯЗ. Он жил в Ленинграде, иногда приезжал в Москву в гостиницу «Националь». Ну, я узнал, что он приехал в Москву, и позвонил ему – как ему моя тетрадошка, страниц сорок, о развитии русской поэзии. И вдруг вместо приветливого голоса слышу: «Я ваше писание разорвал и выбросил». ОПОЯЗ ему был непереносим. Вот, это была первая попытка.

Вторая попытка. Будучи студентом в Мосгорпединституте, я на литературоведческом кружке два занятия этого кружка занял своим докладом. Это уже был другой доклад, но в том же направлении: поэзия развивается не по велению политики, не по велению экономики... А вульгарный экономизм был очень силен, что есть поэзия дворянства, революционеров, потом Чернышевский, Белинский... потом революционная поэзия и так далее. Ну вот, значит, а я говорю, что, нет, самостоятельно движется, самодвижение поэзии. Ну, меня громили, но, я бы сказал, свои, свой брат-студент (это студенческий кружок), и они не говорили ни один, что ко мне надо принять меры. Это второе явление.

Третье явление. Был я командиром взвода. Я говорю, что в целом хорошее было время, когда я в Мосгорпединституте учился. Грустное время было – я четыре месяца занимался в училище артиллерийском, получил звание младшего лейтенанта, это была полоска черная. И вдруг я стал командиром взвода противотанковых пушек. Это означает, что мне дают карту и говорят: «Поставишь пушки вот здесь». Я ставлю пушки вот здесь, ко мне никакое начальство не ходит, я совершенно [один] со своими братишками-солдатами (очень хорошие были братишки, большей частью крестьяне) и спокойно жду немецких танков (*смеется*).

Т.: А какое отношение к поэзии это имеет?

П.: А отношение к поэзии вот какое. Пушки таскали студебеккеры. Это вот такая машина, такой высоты, и между землей и днищем – вот такое расстояние.

Т.: Полметра.

П.: Туда можно залезть, и больше никто туда не лезет.

Т.: Ты один.

П.: А у меня две толстые тетради, и я эти две толстые тетради за войну исписал целиком. Это уже не сорок страниц и не сто страниц, как во время доклада, а это страниц триста (тетради эти сохранились) о том, как движется... самодвижение поэзии.

Т.: То есть это ваши *размышления* о поэзии?

П.: Да. Об *истории* поэзии. Почему появился Некрасов? Вот каждый скажет: «Да потому что был Белинский, а он у Белинского учился, а потом Чернышевский, а потом было крестьянское движение, а потом революционные демократы». Я отвечаю: все это было, все это имело значение, но была кроме того поэзия, и *поэтика* Некрасова есть продолжение поэтики поэтов предшествующих поколений. Лежу я это, занимаюсь писанием, ко мне лезет под студебеккер полковник. Во-первых, он по комплекции довольно... (Г. смеется), а я-то был так, фитюлька. Он говорит: «Лейтенант (даже повысил в звании), чем это ты тут все время занимаешься? Вот мне рассказывают, ты все пишешь» (значит, осведомители все уже ему сообщили). На мое счастье, я не эту теорию писал в это время, так очень трудно было бы объяснить артиллерийскому полковнику, что такое хорямб, что такое пиррихий... что такое...

Т.: Амфибрахий.

П.:...размеры с трехударной стопой. Но я писал записи своих артиллерийских стрельб. Надо пристрелять так называемые реперы, чтобы потом от них вести отчет стрельбы по танкам. Ну, он посмотрел: «Ну хорошо, хорошо. Артиллерийские стрельбы нужны». Так что я таким образом получил возможность до конца войны писать. Это какой [раз]? Это... Чуковскому – раз, Мосгорпед – два. Это третий. Четвертый раз – это читал лекцию в Московском университете.

Т.: Да.

П.: Ну, и одновременно... я потом работал еще там, где сейчас работает Открытый пединститут. Открытый – это означает, что можно не сдавать экзамен, а заплатить деньги.

З.: Да-а? Разве *это это* означает?

П.: Что?

З.: Это разве в *таком* смысле?

К. (*из глубины комнаты*): Елена Андреевна, вы взяли ложечки?

П.: Да, да, да. Ну, только если сплошь двойки получил по экзаменам, то даже за деньги... (*Смеется с Т.*)

П.:... А если получил тройки, то доплати тычонок пять – я не знаю, сколько, ну, какую-то сумму, больше, чем билет в метро. Поэтому он называется Открытый.

Т.: Поэтому открыто действует.

З.: Нет, Михаил Викторович. А ваше шоссе Открытое почему называется?

П.: Потому что его одна сторона не застроена. Одна его сторона уходит просто в поле, там Москвы уже больше нет.

Т.: Михаил Викторович, есть такая детская игра – вот спрашивают, кого вы ставите на первое место, кого – на второе, кого – на третье. Вот некоторые играют в эту игру и взрослые. Скажите, есть поэты, которых вы поставили бы на первое место? или на вершину треугольника? (*усмехається*) вот кто у вас?

П.: Их очень много. Перечислять их не стоит. Я... мне... не кто лучше... а кто мне ближе. Мне очень близок – и, наверно, потому, что все время приходилось за них сражаться, но и просто человечески близок, – конечно, Хлебников, конечно, Пастернак, конечно, Маяковский (я его не разлюбил), ну, а дальше... и некоторые другие футуристы. Конечно, Асеев. Асеев очень много дряни написал, но он написал и замечательные вещи.

Т.: Да.

П.: Конечно, Ахматова – хотя бы потому, что я целиком ее собрание стихотворений переписал. Конечно, Мандельштам – я его переписал целиком. Я же был уверен, что, конечно, врага народа издавать не будут.

Т.: Никогда не будут.

П.: Вот.

Т.: А из классики?

П. (*зычно*): Ха-армс!

П.: Вот я и говорил, что я человек журнала «Ёж», я человек стихов Хармса. Какой-то дурак написал статью о Хармсе, что его детские стихи были халтура, вот взрослые стихи – это настоящие. Я не драчун, но если бы я его встретил и была бы под рукой палочка, я бы ему показал, какая это халтура. <...> Как вы здорово угадали, что сегодня попали на футуристов!

К.: Да, Михаил Викторович. Ну, видите, жалко, что не знала, я хотела бы камеру взять... Видеокамеру, хорошо снять было бы все. Между прочим, вы были бы настоящий артист.

З.: Да.

Т.: Спасибо.

П.: Не хочу я быть артистом.

З.: Лен, вы запишите мой телефон...

К.: Да, хорошо.

З.: ...и можно будет и созваниваться, когда...

К.: Даже кажется, что он у меня есть.

(*Перерыв в записи.*)

П.: ...Какая-то моя *акция*, а я не хочу никаких поэтических акций.

З.: Ладно, не будем, не будем публиковать.

П.: Это нечто вроде политической акции получается. Всю-то жизнь мне гадили эти самые большевики (Г. *усмехается*).

П.: Я бы хотел написать рассказ, который основан у меня был... Мальчишечка, с которым я когда-то учился, – то ли он это выдумал, то ли на самом деле было – он говорит: «Я вырос в семье *непререкаемо* большевистской. Отец сколько раз мне говорил, что «Сталин – это величайшая фигура мировой истории, ты должен его» то-сё, пятое-десятое. Мама все время мне говорила: «Помни, что это наше счастье, что мы живем в сталинскую эпоху». Но, – он говорит, – я, – говорит, – был не дурак, и я его, Сталина, не любил». Сталин умер, пришел Горбачев, стало нестрашно некоторые свои мысли высказывать, и оказалось, что отец все время был ярым антисталинистом. Он очень любил свою жену, вот мать этого мальчика, очень любил, «но, – говорит, – я не был уверен, что, узнав, что я против Сталина, она не пойдет в НКВД».

З.: Ну и отношения в семье, скажу я.

К.: Да.

П.: ...Говорит, что его глупость, Сталина, у нее вызывала дрожь, но она не решилась ни сыну, ни мужу сказать, что она антисталинистка. Вы представляете состояние нервное. Значит, жена все время это говорила, чувствуя отвращение, и муж все время восхвалял Сталина, чувствуя тошноту, а маленький мальчик же должен был (*смеется*)...

Т.: Да. (*Пауза.*) Страшно.

П.: Я ему сказал, что все-таки они пересолили, и если они любили друг друга, то могли бы на ушко друг другу сообщить.

К.: Да.

Т.: А может быть, они и чувствовали это? (*пауза*) Потому и жили вместе?

З.: Могу сказать, что мне в таком случае повезло.

П.: Что?

З.: Я говорю, мне в таком случае повезло. Во-первых, мои родители были откровенны друг с другом. Они не были настолько откровенны, чтобы говорить, что Сталин негодяй и так далее, но и никогда не говорили, что он хороший, и я вот помню, что, когда начиналась какая-то официальщина, отец подходил и выключал радио. Я *очень* хорошо помню, совсем я была

маленькая. А потом уже, когда мы были постарше, он говорил: «Да плюс еще, – как-то он говорил, – грузинская кровь» или что-то в этом духе.

П.: У меня тоже особенно отец совершенно не переносил вот антирелигиозную пропаганду... Как армеец он встречался со своими однополчанами по *царской* армии. Я вам рассказывал, что те были очень сильно антисоветски настроены, и он их утихомиривал – говорил: «Ну не кричите же „сволочи-большевики"» (*усмехается*). Вот. Но были и красноармейцы, те тоже Советскую власть не хвалили, а все говорили, что их недооценили. Так что я рос в окружении людей нехвалительных.

З.: Добавлю, что мой отец был репрессирован, так что все это было на определенном фоне.

Т.: Он погиб там, да?

З.: Нет, слава богу, не погиб.

Т.: Вернулся?

З.: Нет, у нас более оказалась таинственная история. Он был арестован рано и выпущен, не будучи реабилитирован, в тридцать четвертом году.

К.: И всё – и потом он с семьей уже был? Или скрывали?

З.: Могу рассказать, это вообще история, полная тайн... (*Вздыхает.*) Значит, он был арестован в двадцать девятом году, сидел в Бутырках, потом был сослан и был в Красноярске, потом в Казахстане, в Кзыл-Орде. И мама со мной и моей сестрой старшей ездила его навещать. Мне тогда было лет семь, наверно, шесть, может быть, но я помню, что мы ездили к папе в Казахстан... у меня отдельные картинки остались... потом я помню, что мы встречаем папу на Ярославском вокзале, а газетчики-мальчишки кричат: «Сегодня похороны Сергея Мироновича Кирова!» – такими истошными голосами.

Т.: Тридцать четвертый.

З.: Значит, тридцать четвертый год.

П.: Они переживали это как потерю?

Т.: Нет, мальчишки.

З.: Они газеты продавали.

П.: У меня такое впечатление, что сталинщина сильно преувеличена, а на самом деле людей, которые Сталина сильно не любили, было очень много.

З.: Нет, ну я вам доскажу уже, раз я начала.

Т.: Да.

З.: Потом, значит, когда он вернулся... он был доцентом того, что тогда называли Ленинским пединститутом. Его взяли туда работать, он работал... Да, еще одна такая полоса. Когда началась война, он пошел в ополчение. Он работал с Виктором Владимировичем Виноградовым, очень его любил, и Виктор Владимирович тоже пошел в ополчение, и, как потом говорила жена Виктора Владимировича и сам он, они говорили: «Андрей Михайлович отхлопотал Виктора Владимировича», потому что он ходил и всюду говорил, что нельзя такими учеными, значит, вот так вот распоряжаться, на передовую посылать.

Т.: Это Надежда Матвеевна говорила?

З.: Да. Вот. И Виктор Владимирович очень нежно относился к моему отцу, у меня даже хранятся его письма, которые он ему писал во время войны. И, значит, Виктор Владимирович был возвращен. А отец мой попал в окружение. Они были... вот это те люди, которые погибли, потому что там были минометы, а они даже не умели ими пользоваться, были минометы, но не было мин, понимаете, вот все это под Москвой было. Он попал в окружение и вышел, насколько я помню, в Тулу, без документов, еще с каким-то солдатом, без всего, заросший (у меня есть фотография, где он заросший бородой)... Его стали спрашивать – мол, кто? Мало ли, может, немецкий шпион. Значит, он зашел в книжный магазин и сказал: «Я доцент Земский, автор учебника. Спросите кого-нибудь из Пединститута, вот меня должны знать». И действи-

тельно, его как-то опознали – он приехал в Москву. А мы в это время с мамой (она была директором школы-интерната) были в Рязанской области, и мы на каком-то... в товарном поезде примчались тоже в Москву, оказались все вместе. Значит, это был... какой?.., сорок второй, наверно, год. Да, и мы эвакуировались, потом вернулись (ну, это я все опускаю, так сказать, там много всего было интересного), потом он тяжело заболел и в сорок шестом году умер. Значит, осталась мама, я была студентка. Дальше были такие события. Сейчас я вспомню, в каком это может быть году. Ну, может, в шестьдесят четвертом. Да? <...>

З.: В *шестьдесят* четвертом. То есть отца уже нет в живых давно. Умер он от саркомы, очень тяжело. Да. Мы жили в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре, вот недалеко от этого Института русского языка, в котором я работаю. Звонок в дверь, солдат с ружьем. «Гражданка Земская». Значит, меня соседи вызывают. Вот. Ну, дает письмо под расписку, где написано: «Явиться к 10 ч. утра на следующее утро в военную прокуратуру», и адрес указан: Кропоткинская, там, что-то такое. Значит, у меня маленькая дочка, муж, в страхе мы, конечно, естественно, особенно муж (я так понимаю, мужчины более нервные люди): «В чем дело? Что?» Он решил так, такая версия была, что... он как раз какой-то рассказал анекдот, а вызывают меня потому, мол, с женщиной легче дело иметь.

К.: А он тоже лингвист, ваш муж?

З.: Нет, он был вообще химик, это был нормальный человек, ну, конечно, мог рассказать в каком-нибудь шестьдесят четвертом году... нет, он не был никакой не диссидент, ничего, обыкновенный человек. Вот. Он меня туда провожает, я подхожу к этому дому. Ничего – ни вывески, ничего вообще. Дом – просто особняк (вот с левой стороны, какходишь на Кропоткинскую). Вхожу – опять там человек с ружьем. Показываю письмо. «Ждите». Значит, такая огромная приемная, стою, довольно долго жду. Я думаю, что все это специально они так, да. Через, может, полчаса спускается человек с лестницы и говорит: «Пройдемте». Мы проходим. Колоссальный кабинет, трудно мне даже представить, но такой, что вот я сижу, а там этот человек...

Т.: Маленький.

З.: Да, где-то за огромным столом вот такой вот...

К.: Гоголь такой.

З.: Да, сидит военный (я плохо разбираюсь в чинах, но, наверно, в чинах) и говорит: «Вы догадываетесь, зачем вас вызвали?»

З.: Я говорю: «Нет». Он мне снова: «Ну подумайте». Я говорю: «Нет». – «Что ж вы, так и не понимаете?» <...> Ну вот. Значит, ну так раза три он меня спросил, я раза три ответила, что «нет», и он сказал: «По поводу вашего отца». Я говорю: «Мой отец умер в сорок шестом году». Он говорит: «Да, нам это известно». Да, и надо еще сказать при этом, что мой отец похоронен на Новодевичьем кладбище, потому что там похоронены два его брата, которые были военными, и один был даже генералом, ну, значит, вот такая семейная могила. Да, он спросил: «А что вы пишете в анкетах?» Я говорю: «Что отец реабилитирован». – «Ваш отец не был реабилитирован, вы пишете неправду. Мы сейчас разбираем все дела, ну, значит, вы можете... вы, по-моему, даже не *можете*, а вы *должны* обратиться с просьбой о пересмотре дела».

Т.: То есть это шестьдесят третий – шестьдесят четвертый год? Примерно так.

З.: Да, я думаю, что шестьдесят третий скорее даже. Вот. Я говорю: «Хорошо». Причем сами понимаете, насколько я ошарашена, еще жива моя мама, она живет отдельно, там надо вместе все... Я говорю: «Мама еще...» – «Мы не стали ее трогать, она человек старый, решили обратиться к вам». Я еду к маме, значит, все ей рассказываю, мы пишем такое заявление... Да, значит: «Напишите заявление и принесите». Да, а я хочу сказать, какая у нас была дома легенда. Значит, во-первых, конечно, это все скрывалось, что отец наш был репрессирован, мы все-таки старались никому не говорить, во-вторых, было такое мнение, что... муж родной

сестры моей мамы, который был белым офицером, у нас ночевал вот где-то, там, в двадцать девятом или в каком-то году, и вот донесли соседи, и отца поэтому арестовали.

Да. На следующий день я прихожу – приношу это наше заявление, опять, значит, жду, опять этот человек спускается, на этот раз я уже все-таки немножко пришла в себя и спрашиваю – говорю: «А за что был арестован мой отец?» Он говорит: «По делу об участии в Белой армии в Самарской губернии». Я говорю: «Ну, это...» – «Он был в Самарской губернии?» Я говорю: «Да, он был, но он там работал по линии просвещения» (отец и мама оба были филологи). Вот. Он говорит: «А это совсем неважно, – знаете, так цинично, спокойно, – это совсем неважно. Мы закрываем все эти дела. Нам надо закрыть...». И через, там, сколько-то времени, может быть, через месяц-два, я получила письмо, что он, значит, посмертно реабилитирован.

Т.: А! все-таки реабилитирован.

З.: Да. Нет-нет, «закрываем...».

Т.: «Закрываем» – это значит реабилитация.

К.: Они уже его реабилитировали.

З.: Да.

К.: В шестидесятые годы.

З.: Даже независимо от того, значит, был ли он в Белой армии, не был, и всё. Вот такая история.

*(Перерыв в записи.)*

К.: Есть какие-то вот такие рассказы, очень интересные...

З.: Да.

К.: Например, Михаил Викторович рассказывал про «Арабески» – ну согласитесь, что это почти художественное произведение...

З.: Ну, конечно.

К.:... Это не просто так.

З.: Ну, конечно, конечно.

Т.: Это новелла.

З.: Да, да-да-да.

К.: Этот человек с ружьем...

Т.: Новелла, да.

К.:... и этот огромный гоголевский стол... <...>

К.: Какая-то символика есть, что-то больше...

Т.: Поскольку у нас момент исторический, немножко... скажите два слова о себе – то, что мы не знаем. Вы закончили...

К.: Я закончила тоже филологический факультет...

Т.: МГУ?

К.: МГУ. Вот. И Михаила Викторовича я слушала на первом курсе, лекции по фонетике, а потом весь этот вот курс по истории языка.

Т.: Поэзии?

К.: Поэзии, да. И не один год, а мы слушали, уже когда я даже закончила университет. А на последнем курсе я снимала фильм об университете, и мы снимали лекции Михаила Викторовича Панова. И он пришел к нам на просмотр фильма – назывался этот фильм «Реплика», об университете фильм – и Михаил Викторович мне сказал: «Вы возродили немой кинематограф». Я подумала: «Это комплимент или нет?» Так и не поняла.

З.: В устах Михаила Викторовича это похвала.

К.: Да.

Т.: Да, конечно.

К.: И через неделю, через вот тоже одну мою подругу, он пригласил нас в гости. Мы пришли всей нашей группой, это был, наверное, восьмидесятый год, и вот с тех пор мы стали

ходить к Михаилу Викторовичу в гости очень часто... и большими компаниями, и малыми компаниями, и разными компаниями, и очень любим Михаила Викторовича. Вот я еще рассказала Елене Андреевне, что мы издавали журнал – и он хранится у меня – «Трамвай 13».

К.: И я была как бы старостой этого журнала, и все эти номера находятся у меня. <...>

З.: Лен, а где вы работаете?

К.: Я работаю в Language Link, в «Альфа-банке» и в Менделеевском университете, и немножко в РГГУ.

*(Перерыв в записи.)*

Т.: А где сейчас этот фильм хранится?

К.: У меня дома. Дело в том, что он снят на шестнадцатимиллиметровой пленке. <...>

П.: Сейчас я особенно остро чувствую, что ушла какая-то эпоха... И очень ценно то, что от нее что-то успели оставить.

Т.: Да, да. Это очень важно. Будем надеяться, что это останется.

К.: Мы снимали об университете. Лекция Михаила Викторовича нам нужна была только, чтобы показать наш восторг от того, что, вот... там же сесть негде было, на этих лекциях, мы снимали толпу, ну и Михаила Викторовича, поскольку мы уже тогда его очень любили. Вот. А сейчас если вы будете что-то делать, я серьезно предлагаю, вы мне позвоните, вы это как-то с Еленой Андреевной... я принесу камеру и вам отдам пленку.

З.: Нет, это действительно стоит.

К.: Это, по-моему, интересно очень.

Т.: Это очень важно, да, это наша мечта!

К.: Потому что это мимика, это все уже совсем по-другому, это уже кино. Пока телевизионщики раскрутятся, уже ничего не будет.

З.: Давайте не откладывая, где-нибудь в конце марта мы, в самом конце.

К.: Вот. Давайте.

Т.: Вот все зависит от вашего расписания и от состояния, конечно, Михаила Викторовича.

З.: Ну, я могу сказать, что числа с десятого...

К.: Давайте.

Т.: А кроме вот этого фрагмента о Михаиле Викторовиче что еще есть в этом фильме?

К.: А-а! это мы уже снимали такой ассоциативный ряд. И вот, кстати, я хотела сказать, за что Михаил Викторович хвалил. Мы поставили камеру... а там, знаете, дорога вот к гуманитарному корпусу, там яблони цветущие, это май был, и где-то, наверное, в восемь сорок пять мы поставили камеру и снимали толпу, просто долго снимали толпу. Там идея была безвременья, там были часы без стрелок, которые были все там, в университете, там было – полет, ну ощущение наше, вот мы кончали МГУ, что будет, и что было, и что нам дорого, ассоциативный ряд, что такое МГУ, у нас был свой театр, ну и так далее. И Михаил Викторович сказал, что очень интересный вот этот кадр, когда они все идут. Мы даже не поняли, почему. Он говорит: «Потому что ровно через пять лет все изменится: будут другие походки, будут другие лица, будут другие люди».

Т.: Так оно все и было.

К.: Так и произошло.

*(Конец записи.)*

## 2. Разговор М. В. Панова с Е. А. Земской, В. Ф. Тендер и Г. Б. Якимчик. 1 апреля 2001 г

*Беседа идет на квартире М. В. Панова. Запись В. Ф. Тейдер. В беседе принимают участие Е. А. Земская и Г. Б. Якимчик (аспирант). Расшифровка Д. В. Радзишевского*

[М. В. Панов рассказывает, что он писал спецвопрос по языку жестов].

Т.: А когда это было, Михаил Викторович?

П.: То-олстый спецвопрос.

Т.: Это в аспирантуре?

З.: В аспирантуре.

Т.: Да? В аспирантуре это было, да?

П.: Да, когда я был аспирантом.

Т.: И как называлась эта работа?

П.:... Наверно, толщиной вот в палец. И мой руководитель по этому спецвопросу, Введенский такой был... помните?.. довольно скверная личность... он мне предлагал защищать не мою диссертацию, а вот этот «Язык жестов». А я очень начитался... Смотрите, как интересно. Языков индейцев страшно много, и в каком-то языке индейцев *обернуться* обозначают (ну, я сейчас не помню, я придумаю) *тура*, а *равный* – *тура-тура*. И почему. Это объясняется из языка жестов. *Обернуться* – вот жест, а *равный*... (*показывает*). То есть два раза... Если это *тура*, то это *тура-тура*. Два раза...

Т.: *Обернуться* – это указательный палец, да?

П.: Нет-нет-нет, не так. Вот это *тура*, а вот это *тура-тура*. То есть *это равный*, а это *обернуться*.

Т.: Два пальца указательных смотрят друг на друга, да?

П.: Что?

Т.: Вернее, не друг на друга – параллельно два пальца.

З.: Нет, вот так вот.

Т.: Да. Два указательных пальца параллельно вот так вот стоят, да?

П.: Что-то мой слуховой аппарат сегодня плохо работает, надо менять его.

(*Перерыв в записи. Тема разговора меняется*).

П.:... Марина Цветаева.

Т.: А время какое? Или полностью – да? – творчество ее?

Я.: (*шепотом*): «Принципы построения художественного текста».

З.: Принципы – что?

Я.: «Принципы построения художественного текста».

П.: Вы говорили, Галочка, что этот самый...

Я.: Баратынский?

П.: Нет, нет, этот... лжегенетик, как его?...

Я.: А! Лысенко.

З.: Лысенко?

П.:... Лысенко чего-то стоит. Это вы говорили потому, что вы слышали по телевидению выступление его сына...

Я.: Не-ет.

П.:... и сынок всякую чушь нес о том, что Эфроимсон очень нехороший. А Эфроимсон как раз отважный рыцарь – боролся тогда, когда... и дважды побывал за это в лагере. Вот. И в газете – статья, где, во-первых, хвалится сын за то, что он папу любит, а во-вторых, говорится о том, что у него сплошное вранье.

Т.: Эта передача была не в связи с Тимофеевым-Ресовским? Нет? Не знаете? <...>

П.: Причем в этой статье в газете сказано: «Но таких лиц, как Берия, Лысенко, простить нельзя». Видите, в какую он компанию попал. Он губил настоящих ученых.

(Перерыв в записи.)

З.: Злодей, просто злодей.

П.: Это губитель Николая Ивановича Вавилова.

Я.: Я не о злодействе говорила, это как бы не подлежит сомнению, я о другом.

З.: Ну, что в идеях что-то есть, да?

Я.: Да, стояло ли что-то за его идеями или нет – вот об этом я спрашивала, потому что так все-таки... трудно себе представить человека, чтобы одной черной... чтобы уж такой был злодей.

П.: Там даже сказано так, в газете, что Лысенко на всех перекрестках кричал, что не он погубил Вавилова, а из дела Вавилова, которое сейчас опубликовано, видно, что обвинение строилось в значительной степени на показаниях Лысенко.

(Перерыв в записи.)

П.: Я получил заказ рассказать о своем знакомстве с Виктором Владимировичем Виноградовым, да?

З.: Да.

П.: Я познакомился с Виктором Владимировичем примерно в шестом-седьмом классе... когда я был в шестом классе, а не он (З. смеется). Как я познакомился? Я страшно полюбил ОПОЯЗ, формалистов и набрел на книгу Виктора Владимировича... Набрел на книгу «Этюды о стиле Гоголя». Вот вы видите, такую замечательную книгу, а я у вас [к Е. З.] спрашивал, есть ли она у Виноградова, – что значит старикан! Эта книга совершенно удивительная. Как-то физику, создателю атомной европейской бомбы Нильсу Бору принесли какую-то новую физическую теорию, он с ней познакомился и сказал: «Ну что же, похоже на то, что это дельная теория. Надо только проверить, достаточно ли она безумна, чтобы быть истиной». Так вот я познакомился с этой книгой, в которой высказана безумная идея у Виноградова, и поэтому она, по-моему, явно истина.

Он что сделал в этой книге? Почему она школьника Панова потрясла? Хотя Виноградов не принадлежал к ОПОЯЗу, то есть он не входил в их сообщество, но он был явно идейно близок. Он перебрал огромное количество лубочных, полулубочных изданий... начало девятнадцатого века, первая треть, – это был разлив книг всяких безвестных авторов, которые писали для полунинтеллигенции, для народного покупателя, и литературоведы обычно на эти книги как на макулатуру не обращали внимания, а Виноградов обратил, и он доказывает такую мысль: все мотивы «Петербургских повестей» Гоголя, прежде чем они появились в *его* повестях... вообще, словарь говорит, надо говорить *в повестях*, но мне хочется говорить *в повестях*... А вы как говорите?

З.: Я говорю *в повестях*, пожалуй.

П.: Ну вот. Все вещи в его вот этих ранних «Петербургских повестях», прежде чем они появились у Гоголя, появились в этой низовой литературе. Гоголь что внес? Он их синтезировал, эти мотивы, ну и, конечно, внес свою гениальность. Мотив бедного чиновника? Был, был, был. Причем в отличие от гоголевских повестей эта низовая литература бедного ничтожного чиновника рассматривала как *комическую* фигуру, над которой Бог позволил издеваться. Месть бедняка, который раздевал на улицах богачей? Было, было. Ну, и так вот перебирать можно... Всё, что есть у Гоголя, врассыпную было в этих произведениях, которые не удостоились литературной памяти.

Следовательно, как рождается новое течение? Вначале оно заявлено не в публицистике: «Напишем произведение в защиту бедного чиновника!», «Напишем гуманитарные повести!», – а вначале оно возникает в самом литературном ряду, но возникает врозь, врассыпную,

без высокой литературной славы, а потом приходит гениальный автор, и он поднимает то, что уже есть в традиции. Ну, это идея опоязовская – что литература развивается сама по себе, из себя, для себя, не под влиянием публицистов-идеологов, а под влиянием внутреннего самодвижения. Вообще идея совершенно безумная, что какие-то башибузуки написали произведение, не удостоившееся бессмертной славы, но эти произведения служили зародышем величайших литературных достижений. Очень мне понравилось, что литература сама-король, сама-царь, сама развивается.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.